

*А. Давыдов*

---

Самое  
длинное  
мгновение

**Лев Давыдычев**

---

**Самое длинное  
мгновение**

**Рассказы**



**Москва 1977**

**Давыдычев Л. И.**

**Д13** Самое длинное мгновение. Рассказы.  
М., «Современник», 1977.

270 с. (Новинки «Современника»).

В новый сборник уральского писателя Льва Давыдычева вошли рассказы, написанные в разные годы и в большинстве своем уже публиковавшиеся в периодической печати. Герои рассказов — люди, разные по возрасту, склонностям, характеру и профессиям. Рабочие и колхозники, инженеры и служащие, они, каждый по-своему, осмысливают жизнь, активно вмешиваются в происходящие события; видят мир большим и многомерным.

Д  $\frac{70302-733}{M106(03)-77}$  16—77

**Р2**

Я был на практике в поисковой партии. Геологи — сумрачные и раздраженные оттого, что их не посылают на фронт, — не разговаривали не только со мной, но и друг с другом. Худые, небритые, сосредоточенные на одной мысли, они спасались в работе: за день мы проходили не меньше сорока километров.

Поздними вечерами, наполнив желудки в основном водой, мы лежали в избе, вытянув натруженные ноги, дымили самокрутками и слушали тоскливые девичьи песни, невеселый женский смех за окнами. Мы были единственными мужчинами в деревнях, через которые вел маршрут нашей партии.

Женщины звали нас песнями и смехом — без надежды, и, верно, сами бы удивились, если бы кто-нибудь из нас ответил на их зов.

Очень часто голод побеждал все остальные ощущения. Было одно желание — не просто поесть, а набить себя пищей.

Мы с мамой жили очень тяжело. Утром я выходил на кухню, а мама прятала хлеб. Когда приступы голода были особенно сильными, я искал спрятанный паек. Но ни разу не нашел его. (Только после войны мама рассказала, что подвешивала хлеб на окне, за шторой.)

Однажды, вернувшись из маршрута, я увидел на крыльце нашей избы девушку — такую,



какими кажутся все девушки в юности, — легкую и светлую. Это была Леля Соколова, со второго курса. В техникуме мы только здоровались.

Здесь же, когда пришлось делить радости и невзгоды трудной геологической жизни, мы быстро подружился. Было в ее отношении ко мне что-то материнское. Сердце сжималось от счастья и сладкого стыда, когда она делила еду на две неравные части.

Ее мать работала в продовольственном магазине, и из города Леля привозила полный рюкзак снеди. И я краснел не от жара костра, на котором в котелке бурлил наш вкусный ужин...

— Все равно на всех не хватит, — успокаивала меня Леля, и я перестал краснеть.

День ото дня, а может, час от часу мы все чаще встречались глазами.

Как-то ночь застала нас в лесу. Я разжег огонь. В его отсветах Лелино лицо казалось бледным. Мне было весело и жутко сознавать, что мы в опасности, что кругом зловещий лес, наполненный таинственными шорохами. Страшнее, но и желаннее их была тишина. Когда она внезапно и ненадолго наступала, нервы в ожидании чего-то натягивались. Стоило протянуть руку в сторону, и ее схватывал холод.

Костер дышал тепло и ровно. У меня чуть кружилась голова — от голода и необыкновенного ощущения близости...

А до утра было далеко.

— Холодно, — сказала Леля.

— Ничего, — ответил я, — не бойся.

— Я не боюсь.

Временами на меня наваливалась дрема, и я словно опускался куда-то.

— Иди ко мне, — услышал я, — холодно.

Под моей рукой билось ее сердце. Она ничего не говорила, не двигалась.

Только когда начало светать, она спросила с сожалением:

— Пойдем, да?

Мы шли быстро, будто бежали от уже содеянного греха.

Несколько дней Леля казалась мне чужой — так бывает после первого обнаружения близости. И, конечно же, я верил, что самой судьбой мы созданы друг для друга.

Никто не замечал наших отношений. Для геологов мы были просто практикантами, нам давали задания, учили работать и — все.

Нас стали посылать в самостоятельные маршруты. Это значит: рано утром мы уходили в путь и до вечера были вдвоем.

Едва мы сворачивали с дороги в лес или в поле, Леля радостно вздыхала и снимала платье. Была она доверчива и совершенно не считалась с тем, что я, так сказать, мужчина, а она женщина, спокойно шагала впереди. Сильная и гибкая, с гладкой смугловатой кожей, она — среди лугов, цветов и солнечных лучей — словно вместе с платьем снимала с себя будничность и обыкновенность, все, что может вызвать земные желания.

А я с каждым днем все чаще и чаще ловил себя на мысли, что рано или поздно кровь ударит мне в голову. Думалось об этом чисто и откровенно.

Но Леля ничего не замечала.

Сидели мы однажды в тени, утомленные походом. Неожиданно для себя я спросил:

— А если не сдержимся?

Она покраснела, подтянула колени к подбородку и, помолчав, ответила:

— Не знаю... А почему ты спросил? — Леля нахмурилась, взгляд ее стал испуганным. — Разве можно об этом думать? Да как тебе в голову это пришло? — Голос ее звучал недоуменно, а выражение лица приняло суровый оттенок. — Как тебе не стыдно?

Удивительно, но мне не было стыдно. Не было стыдно даже за то, что не стыдно. Я любил, я был уверен в своем чувстве, не боялся его, не боялся за него. И еще я убедился, что сильнее любви нет ничего на свете.

Когда двинулись в дорогу, я сказал:

— Я ведь не хотел тебя обидеть.

Она улыбнулась, и в улыбке проскользнула грусть. Я шел следом и думал, что ведь Леля испытывает то же самое, что и я.

Тропинка, по которой мы шли, вела вдоль глубокого, с крутыми, почти отвесными стенами оврага, называемого почему-то Волчьим. По дну его были ямы, края которых заросли крапивой и малиной. О глубине ям никто не знал. Местные жители предпочитали обходить овраг стороной.

И мне в голову пришла отчаянная мысль: свалиться бы туда, изувечиться и сказать Леле:

— Это из-за тебя!

И не успел я подумать, как земля под моими ногами обвалилась и я поехал вниз на куске дерна. В первый момент я ошелотился от страха. Но вот движение остановилось. В трехче-

тырех метрах от меня — черный зев ямы. Ухватиться не за что. Я боялся открыть рот, боялся повернуть голову. Боялся дышать, даже думать боялся. Ведь пошевелись подо мной хоть одна песчинка, и я полечу в яму.

— Я сейчас... — раздался испуганный Лелин голос. Вверху что-то зашелестело, затрепало, а Леля говорила:

— Сейчас, сейчас...

Над моей головой показались ветки молодой березки, и я вцепился в них и — полетел вниз. Ладони ожгло.

Я удержался — лег на склоне. Но стоило подтянуть ногу, как она тут же скользила по песку назад.

Руки напряглись до того, что заломило в локтевых сгибах. Вдруг я ощутил, что меня тянет вверх, и стал осторожно помогать ногами. Руки онемели, казалось, их вот-вот сведет судорогой.

И когда я вполз на тропинку, на твердую землю, то лишь тогда испугался — до озноба.

Леля лежала рядом на спине. Грудь ее тяжело и коротко вздымалась. Тело блестело от пота. Не знаю, сколько мы так пролежали. Закрыв глаза, я целовал Лелю, вернее, просто благодарно прикасался к ней губами.

Всю дорогу мы молчали.

Я думал, как приведу Лелю к нам домой, познакомлю с мамой, покажу любимые книги, те, которые мы еще не проели...

В избе никого не было. Записка сообщала, что завтра геологи уходят в далекий маршрут, поэтому сегодня ночуют в соседней деревне. А нас они просили сегодня же принести им, уж не помню какой, инструмент. Вернись мы до-

мой вовремя, поручение бы не смутило меня. Но сейчас я к тому же едва стоял на ногах, у нас не было ни крошки хлеба.

Я лежал на лавке и чуть не плакал от бессилия.

— Пойду я, — сказала Леля. — Ты плохо себя чувствуешь. — И не успел я возразить, как она обняла меня и зашептала: — Ну, разреши мне, ну, отпусти... Утром обязательно прибегу.

Она так и сказала «прибегу», хотя до соседней деревни было больше пяти километров.

— А может, и сегодня вернусь, — задумчиво добавила Леля. — Сегодня... понимаешь? Конечно, сегодня! Ведь мы можем быть одни... я и ты... и никого...

— Нет, нет, — бормотал я, удерживая ее.

— Разреши... отпусти... ну, мне хочется... для тебя... мне приятно...

Она ушла. Я понял: ей хочется совершить что-то очень трудное. Для меня.

Я лежал в сумерках. В теле было столько слабости, что больно было шевельнуться. Верил я, что Леля вернется сегодня, потому что я люблю ее, потому что она меня любит. Она вернется для того, чтобы больше уже не расставаться... Навсегда, на всю жизнь.

...А дорога петляет полем, потом — лес. Там темнота. И сквозь темноту ко мне идет Леля. Моя Леля... Я то казался себе ничтожеством, потому что не я ей, а она мне доказывала силу любви, то, наоборот, готов был торжествовать.

Радость, гордость, сладкая и острая тревога ожидания... Больше ни разу в жизни я не испытал такого.

Я поднялся, вытащил из рюкзака свое единственное сокровище — мыло. Мама просила привезти его домой.

А я обменял мыло в соседней избе на несколько стаканов муки и кусочек топленого масла. Знаете, что это такое? Это мечта. Заваруха!

Большой котелок заварухи — муки, обваренной кипятком. Если есть ее с маслом... Я глотал слюни, внутренности словно склеились, и чтобы хоть как-то обмануть себя, я выпил воды, много-много... Лежал на лавке, борясь с головокружением. Лежал долго. Временами приходилось впиваться пальцами в края лавки, чтобы не броситься к котелку.

Но я верил, что Леля придет, а ее ждет сказочный подарок — заваруха.

Вцепившись руками в лавку, будто вдавившись в нее, я мысленно ел муку, запивая ее водой.

Внезапно я почувствовал, что Леля недалеко, бросился к печке, чиркнул спичкой, и сухие щепки под таганцом вспыхнули. Я приплясывал от нетерпения. Иногда мне даже слышалось Лелино дыхание.

И где тут разобрать, отчего кружилась голова — от голода или от любви. Помню только, что я обеими руками оперся о печь, чтобы не упасть.

Оглянулся — Леля стояла на пороге, сзади освещенная луной. Вокруг головы тонкий венчик сияния. Лунный свет мягко, но отчетливо нарисовал каждую линию тела.

А на полу дергалась моя изломанная тень.

Подплясывало пламя, и тень моя подплясывала.

Мы обнялись.

Тут я понял, как страшно было Леле идти, как она любит меня.

И чтобы доказать ей, что я ее люблю насколько не меньше, я поставил на стол котелок с дымящейся заварухой.

До сих пор помню его. Мятый, закопченный...

Из него валил пар с пронзительным запахом съестного...

— Что это? — брезгливо спросила Леля.

Мне показалось, что я ослышался.

— Ешь, — не сказал, а приказал я.

— Ешь? — недоуменно и обиженно переспросила Леля. — Эту гадость? — И рюкзаком отодвинула от себя котелок. — Я достала картошки...

Котелок упал на пол.

Лунный свет безжалостно освещал горькую картину — дымящаяся заваруха расплылась по полу, стекая в щели.

Преодолев тошноту и головокружение, я широко расставил ноги, чтобы не пошатнуться. Правая рука набухла. Но я не ударил Лелю по презрительно искривленным губам.

— Ты что? — испуганно прошептала она. — Это же ерунда... — Она обняла меня, прижалась и зашептала: — Люблю... очень... Насовсем...

Оттолкнуть ее у меня не было сил. Я опустился на пол. Есть я уже не хотел. Но я не имел права позволить погибнуть заварухе.

Леля села рядом. Она гладила меня по голове и что-то говорила.

А я ел, заставлял себя есть заваруху.

И жалел, что мама далеко.

Елена —  
рыжая ведьма —  
графиня —  
Витькина сестра

У Елены, Витькиной сестры, были рыжие волосы, да не просто рыжие, а невероятно рыжие, такие, что я ни с чем не могу сравнить их цвет.

Сама она была одной из первых сложных загадок, которые поставила передо мной жизнь. Рыжий — тогда в моем понимании означало некрасивый и смешной. Так я и воспринимал Елену и вместе с мальчишками кричал ей вслед:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая!

Потом мне стало стыдно обзывать ее, и чем было стыднее, тем громче я кричал.

Потом я стал бояться ее. И чем больше боялся, тем громче обзывал.

Мальчишки кричали за компанию, или равнодушно, или весело, а я с отчаянием.

Ведь рыжая Елена оказалась красавицей, и я один знал об этом. Я прочитал старинный роман, где из-за графини-красавицы все время стрелялись на дуэлях, и задумался: а что же такое красавица? Я вспоминал всех знакомых девочек и даже взрослых женщин, пытаюсь определить, из-за какой я готов насмерть стреляться, например, с Витькой, моим лучшим другом?

Оказалось, из-за Елены.



Из-за рыжей Елены!

Я до того растерялся, что однажды, когда мальчишки закричали:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая!

Я перекричал всех:

— Графиня!

Елена остановилась и обернулась.

Я шагнул к ней.

Мальчишки — мои друзья — стояли сзади. Елена смотрела на меня. И мальчишки — я спиной чувствовал это — смотрели на меня. И я должен был сделать выбор. И я сказал громко, так громко, что в горле мгновенно пересохло:

— Графиня!

Голубые глаза Елены чуть потемнели, сузились, полные губы шевельнулись, словно не решаясь улыбнуться, — она пошла, медленно пошла, будто предлагая догнать ее.

Мальчишки за моей спиной сопели, потом разом расхохотались — это когда я шагнул следом за Еленой. Смеяться им вовсе не хотелось. Просто они требовали, чтобы я остался с ними. И они выдавливали из себя смех. Он был напряженным, твердым и жалким. Оборвался он неожиданно.

Мы ведь не понимали, что такое произошло, мы лишь чувствовали: с одним из нас, со мной, случилось что-то важное. Оно когда-нибудь случится со всеми, но я был первым, и меня следовало наказать. Хотя бы смехом.

И ее тоже надо было наказать. И мальчишки, надрывая глотки, заорали:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая! Рыжая, рыжая, рыжая, разрыжая!

Я повернулся и, не выбирая, ударил того, кто стоял ближе. Это был Витька, мой лучший друг, брат Елены...

Кулаки мои разжались.

Руки опустились.

Я даже не закрывал лица, когда мальчишки начали лупить меня. Больно не было, хотя били они здорово. Я только взглядывал, когда получалась возможность, на растерянного Витьку, который полуотвернувшись, стоял в сторонке.

— Хватит, — попросил я, почувствовав, что губы мои уже вспухли, — хватит вам...

Не было во мне ни обиды, ни злости. Мне было стыдно. И я ничего не понимал.

И друзьям моим было стыдно.

И они ничего не понимали.

А виновата во всем была Елена.

Мы все сделали вид, что будто ничего не случилось, хотя голова моя гудела, губы ныли, а затылок онемел. Я подошел к Витьке, сказал:

— Случайно получилось.

— У нее жених есть, — ответил Витька. — И не графиня она.

— А я не спорю, — сказал я.

Витька посмотрел на меня, улыбнулся и благодарно, и виновато, сказал:

— У нее вся спина в веснушках. Даже пятна есть. И тут веснушки, — он показал пальцем на грудь, около шеи. — И зазнается здорово.

Витька был моим лучшим другом, и я не мог не согласиться с ним, но понимал, что отныне между мною и им встала Елена, и сказал:

— Веснушки — это ерунда, конечно. Главное, она красавица.

— Главное, она красавица! — возмущенно и насмешливо передразнил Витька. — Посмотрел бы ты на нее! — он даже поморщился. — Смотреть ведь противно! Понимаешь?

И я на мгновение почувствовал, что Витька может больше и не быть моим самым лучшим другом, потому что так говорит о Елене. Но я знал, что сделаю все возможное, все перенесу, чтобы сохранить нашу дружбу, — словно я еще тогда догадывался, что найти друга так же трудно, как и любовь. А потерять — одинаково легко.

— Она спит много, — с отчаянием продолжал Витька. — Папа говорит, что она всю свою жизнь подрыхнет!

— А мы с тобой все равно будем дружить, — сказал я. — А она пусть спит, сколько ей надо. И пусть она вся в веснушках. Не наше дело.

\* \* \*

Мальчишки давно разошлись. Мы стояли вдвоем, и настроение у Витьки было такое, словно побили его, а не меня.

— Ну стукни меня, — предложил я, не зная, чем еще утешить его. — Вдарь как следует.

— Ерунда, — он грустно улыбнулся. — Тебе и так попало. А она о себе много воображает. Все время в зеркало смотрится.

— А мы все равно будем дружить, — сказал я. — Она тут ни при чем.

— Конечно, — уныло и недоверчиво согласился Витька.

Он нисколько не походил на свою сестру, как мне раньше казалось. Сейчас же я вдруг

заметил, что глаза у них одинаковые — голубые, и вообще, сразу видно, что он ее брат. Я обнял Витьку одной рукой за плечи и сказал:

— Не будем из-за нее ссориться. Это глупо. Не важно, ведьма она там или графиня на постном масле.

Тут Витька громко вздохнул, взглянул на меня почти осуждающе, зашептал:

— Если по правде сказать... она ведь хорошая... — Он долго-долго молчал, видимо раздумывая, достоин ли я знать все. — Понимаешь... она скоро уйдет от нас. Замуж уйдет. А мы к ней привыкли. Мама плачет. Папа кричит. А я ее обзываю... со злости, конечно.

— А обязательно разве замуж выходить? — спросил я.

— Говорят, без этого нельзя. Чтоб дети были.

— Но ведь она еще в школе учится!

Витька пожал плечами, ответил растерянно:

— Ничего я в этих делах не понимаю.

И я ничего в этих делах не понимал. Знал о них только Генка Смородников. Он собирал нас где-нибудь на чердаке или в дровянике и сипловато пел песни, в которых было много срамных слов, значения коих мы толком не разумели, но у нас колотились сердчишки, горели уши, и даже чуть-чуть кружились головы. Нам было стыдно. Нам было страшновато. И еще как-то. А потом — мерзко. Мы расходились поодиночке, приходили домой и виноватыми, и дерзкими. А через несколько дней снова искали встреч с Генкой Смородниковым. Ба-

рачный житель, вечно голодный, грязный, битый, он снисходительно посвящал нас в тайны той стороны жизни, которую тщательно скрывали от нас взрослые.

Чем чаще мы встречались с Генкой, тем стыднее нам было за взрослых. И хотя у нас не было доказательств его правоты, мы становились недоверчивыми, настороженными, замкнутыми и — грубыми.

Все это мы вымещали на девочках: дергали их за косички, обзывали, ставили подножки, толкали. Мы делали вид, что презираем их.

А девочки словно все понимали. Они были терпеливы и необидчивы. Они — будущие женщины, уже умели прощать и надеяться. А мы — будущие мужчины, учились обижать и за преданность платить равнодушием и презрением, а сами жестоко страдали из-за собственной неискренности. Девочки были сильны тем, что признавали свое временное бессилие. Они обезоруживали нас своей добротой.

И нам ничего не оставалось, как притворяться сильными, грубыми и неблагодарными. Мы обижали их зло и изобретательно, отчаянно и примитивно. И ненавидели себя за это.

А вот появилась Елена. То есть, конечно, она не появилась вдруг откуда-то, а я ее вдруг заметил. Потом-то я понял, что мальчишки часто влюбляются не в сверстниц, а в девушек старше себя. Такая влюбленность всегда носит оттенок чувства к матери, оттого чиста и бескорыстна. Оттого и матери ревнивы, понимая, что часть любви к ним отдается другой... Но почему же первое в жизни чувство к женщине начинается с попыток заглушить его? Вернее, почему первым проявлением этого чувства

бывает нечто обратное ему? Почему я кричал «Ведьма, ведьма рыжая!», прежде чем крикнуть: «Графиня!»?

Сразу оговорюсь: я вовсе не уверен, что мое чувство к Елене можно считать любовью или именно любовью. Да и рассказ этот не о любви.

\* \* \*

Я до сих пор не знаю, как называется то, что произошло у меня с Еленой, вернее, из-за Елены. Знаю только, что это осталось во мне на всю жизнь.

Поводом для рассказа послужила моя недавняя встреча с отцом Елены, глубоким стариком. Но мы сразу узнали друг друга, почти столкнувшись на углу улицы. Оказалось, он по-прежнему живет на старом месте, что Витька погиб на войне, в последние дни... Мы уже собрались прощаться, и я, вдруг до хрипоты оробев, спросил:

— А она?

И старик, сразу же больше состарившись, ответил:

— Тоже. Она ведь медсестра... — и опустил голову, не договорив.

Я пытался пригласить его к себе, звал куда-нибудь выпить, но он, вытирая слезы с седых усов, отказывался, повторяя:

— Скоро на поезд, скоро на поезд...

Мне подумалось, что встреча со мной вряд ли его обрадовала: только разворошила забытое или просто припрятанное в памяти, а утешить мне его было нечем.

— А Марья Степановна? — спросил я.

— Он мельком взглянул на меня с таким осуждением, что мне стало не по себе.

— Разве не видите? — жалобно спросил он.

— Простите, — уже совсем растерявшись, пробормотал я.

Он церемонно кивнул, подал неподвижную кисть руки и засеменил прочь.

Я пошел на берег Камы и, проваливаясь в мокрый снег, добрал до обледенелой скамейки, сел.

Я иногда жестоко стыжусь, что не был на войне, хотя, конечно, понимаю, что стыд этот надуман, неразумен и оскорбителен не только для меня одного.

И все-таки: ведь Витька был старше меня всего на один месяц. Его призывали: а меня — нет.. Больше двадцати лет прошло — надо ли переживать?

По-моему, очень надо.

Чем дальше в прошлое отодвигается война, тем чаще и ярче оживает она в памяти. Особенно я замечаю это по старшим друзьям: раньше они реже вспоминали о том, как воевали. Наверное, так оттого, что человеческому мозгу потребовалось много лет, чтобы до конца осмыслить, что же пришлось перенести и каким чудом выжить. До сих пор болят раны. Не все осколки вынуты. И во сне еще воюют воины. И многим болезням, смертям, искромсанным судьбам до сих пор диагноз один: война...

...Я промерз на обледенелой скамейке.

Витька погиб на войне.

Елена погибла на войне.

И Генка Смородников погиб на войне, в штрафниках...

А я остался живой. Может быть, из-за этого отказался выпить со мной старик?

Мне стало жарко под холодным ветром. То есть внутренне мне было жарко, а сам я словно вмерз в скамейку.

Нет, война — это не только поле боя. Беды, принесенные ею, неисчислимы и непоправимы. Можно заново построить разрушенный дом, сделать его красивее, чем тот, который до войны стоял на этом месте, но дома, в котором, предположим, прошло твое детство, — уже никогда не будет. Просто появится новый дом.

Опаленное дерево — не восстановить.

И никем не заменить убитого человека. Каждый незаменим и неповторим.

Был Витька.

Была Елена.

И Генка Смородников был...

А я все еще — есть. И я не знаю, сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы настоящей ценой оплатить право остаться в живых не только потому, что родился, но и потому, что нужен живым.

Эх, Витька, Елена, Генка... одно могу вам сказать: не забыл вас и не забуду, и если худо, зря проживу свою жизнь, вы — первые, перед кем мне будет стыдно...

\* \* \*

А в тот вечер, когда мальчишки отлупили меня из-за Елены, мы с Витькой залезли на крышу сарая, где Генка гонял голубей.

Сейчас голубей много. Разжирили они. Воркуют, верно, не от любви уже, а от сытости. Наглые стали. И презирают, видно, своих кормильцев.



У Генки было три птицы. Любил он их до того, что здесь, рядом с голубятней, становился на себя непохожим. Совсем другим был здесь Генка. Даже помахать шестом нам давал. Но, загнав голубей в клетку и спрыгнув на землю, он тут же начинал материться.

— Сегодня отец меня опять отколошматит, — задумчиво сообщил он.

— За что? — спросил Витька.

— Получка сегодня, — объяснил Генка. — Вечером к бабам завалится, а ночью нас с мамкой лупить будет. Такой у него закон.

— А пойдем к нам спать, — сказал Витька.

— Ага! — насмешливо отозвался Генка. — А мамка? Как она одна-то? Вам хорошо, — в голосе его прозвучали зависть и презрение, и он длинно выматерился. — Я вот скоро к девкам ходить буду, тогда жизнь веселее пойдет.

В тот вечер я впервые пожалел его, словно тогда еще понял, что ему по-настоящему тяжело жить.

— Даже мне не захотелось возвращаться домой, из солидарности, что ли.

— В армию бы скорей, — сказал Генка, — в кавалерию бы...

— Я танкистом буду, — сказал Витька, — или летчиком.

— В армии хорошо кормят, — мечтательно сказал Генка, — и сапоги всем новые дают. — Он постоял еще, почему-то резко махнул рукой и ушел.

Мы с Витькой долго бродили по улице, много раз прошли мимо его дома, у которого на скамейке сидела Елена. Витька-то ее не замечал, а я даже не мог разобрать, что он говорил об армейской службе.

— Идите сюда, — позвала Елена, — скучно мне.

Не буду врать: из-за давности лет мне не восстановить в памяти ее лица. Помню только волосы необыкновенно рыжего цвета и глаза — голубые, которые темнели, когда она была чем-нибудь довольна или рассержена. И еще губы помню — полные, всегда готовые вот-вот улыбнуться.

Я сел рядом с ней, да так осторожно, что некоторое время как бы стоял на полусогнутых ногах.

— Кто тебя разукрасил? — спросила она меня.

— Это из-за тебя, — ответил Витька, — за то, что он тебя не рыжей ведьмой, а графиней обозвал.

— Молодец. — Елена взглянула на меня, и глаза ее потемнели и сузились. — Прямо благородный рыцарь.

— Ерунда, — еле выговорил я, — они со злости.

Сидели мы долго. У меня от напряжения затекли ноги. Ведь Елена была совсем близко, и стоило мне пошевелиться, и я бы коснулся ее. А я почему-то боялся этого. Я старался не смотреть на нее. И было странное ощущение: я не смотрел на нее, но — видел. А когда она поднимала руки, чтобы поправить прическу, голова моя сама больно поворачивалась в ее сторону, мне становилось стыдно, но я смотрел на подмышки. А потом отворачивался, выпрямлялся, чтобы встать и уйти, и — сидел.

— Ты в клуб пойдешь? — спросил Витька.

— Нет, — ответила Елена.

— А чего твой жених не пришел?

— Во-первых, не твое дело. Во-вторых, он мне не жених. А в-третьих, мы поругались.

— А завтра сама к нему побежишь.

— Как бы не так.

Я побрел домой. За синяки мне попало. Я огрызался на добродушные замечания, получил подзатыльник, разревелся и спрятался в своей комнатушке. Плакал я обо всем сразу — и о том, что Генку бьет отец, и о том, что я ударил Витьку, и о том, что, когда Елена поднимет руки, видно подмышки, и о том, что у нее все-таки есть жених, и о том, что наступали мне из-за нее. Я силился вспомнить что-нибудь Генкино, чтобы думать о Елене было противно, и не мог ничего такого вспомнить. Зато вспомнил, что Елена старше меня и ростом выше, и — слез прибавилось. И они стали горькими... Одиночество ощущается не только тогда, когда никого у тебя нет, но и когда — есть, но не с тобой. Эх, первые в жизни одиночества — мальчишьи! Они как ступеньки к взрослению. Одиночество — значит остаться наедине со своей жизнью и увидеть ее всю насквозь...

И вот когда впервые я испытал это острое чувство, то сначала показался самому себе до ничтожного маленьким. И все вокруг меня было против меня. А я был глупым, смешным и страшно несчастным. И я был против всего и всех.

Но потом, выплакавшись, я ощутил себя не то чтобы сильным, большим и умным, а просто способным к сопротивлению. Подумалось мне с недетской отчетливостью, что я — это лишь я, и все, что выпадет на мою долю — только мое, и я обязан это пережить. И все

стало сразу незамысловатым и ясным. В душе возникла радость. Мир показался разноцветным и дружелюбным. И даже когда вспоминался Генка Смородников, мир не терял своих красок и дружелюбия, потому что Генка вспоминался с голубями...

И еще мне было приятно оттого, что все спят, а я размышляю в темноте.

Уснул я неожиданно и проснулся счастливым.

Дома никого не было, и это тоже было хорошо. Я долго валялся в постели, хотя меня так и тянуло выскочить на улицу, потом долго умывался, даже позавтракал, не торопясь, — убежденный, что сегодня со мной случится что-то необыкновенное, и словно оттягивал удовольствие.

Я ведь не знал, что послезавтра начнется война, на которой погибнут Елена, Витка и Генка. А если бы и знал, то не поверил — тогда! — что их могут убить. Ведь мальчишки и девчонки верят в бессмертие. Только повзрослев, они поймут, что Чапаев действительно утонул.

Был прозрачный и жаркий день, не душный, а просто жаркий.

Впервые в жизни я сам, по собственной воле, облачился в чистую рубашку и причесался. Физиономия моя была украшена тремя синчками, левый глаз припух. Я правым подмигнул себе в зеркале и показал язык.

Мальчишки посмотрели на меня с состраданием: они-то решили, что меня нарядили взрослые.

И Витка удивился:

— Куда это тебя?

— Никуда, — весело ответил я, — просто так.

— Жди меня. Я за хлебом. Дверь не заперта. Елена ключ потеряла, а сама дрыхнет.

Я вполне мог подождать Витьку на улице, но — подумал об этом только тогда, когда уже поднимался на второй этаж, крепко держась за перила. Я не отрывал руки, будто боялся упасть. И хотя шел я долго-долго, у дверей оказался неожиданно. Стоял я перед ними смятенный, глупо-радостный и какой-то другой, не такой каким был всего несколько минут назад.

Я проскользнул в комнату бесшумно, чтобы не разбудить Елену, сел в низкое старинное кресло с короткими ножками. В нем приходилось скорее полулежать, чем сидеть.

Прозвенели пружины, и я весь сжался, отчего они еще громче звякнули.

Сидел я неподвижно, а пружины еще долго звенели на разные лады.

А вдруг выйдет Елена?!

А почему я боюсь этого?

А вдруг она сразу заметит чистую рубашку и что-нибудь подумает?

А вдруг она увидит синяки и обидно расхочется?

Скорей бы вернулся Витька...

\* \* \*

И все-таки мне было радостно! И меня смущало именно это ощущение. Я весь был другой, каким никогда не был. Мне захотелось вскочить и громко засвистеть «Шел под красным знаменем командир полка».

Но тут же я струсил собственной смелости, решил убежать, начал тихонько подтягивать ноги, чтобы, когда буду вставать, пружины не звякнули.

Открылась дверь из соседней комнаты, и вышла Елена. Меня она не видела, остановилась, потянулась, закинув руки за голову, закрыла глаза и счастливо улыбнулась. В один миг я не только увидел, — как это сказать? — впитал ее в себя всю, до каждой родинки, до каждого волоска. А она, повернувшись ко мне спиной, встала перед зеркалом.

Помню, что мне не было стыдно.

Нисколько.

Да и не могло быть стыдно.

То, что я видел, было как бы из другого мира, и если бы я не боялся обвинения в сентиментальности, то сказал бы: из сказки.

И потом генки смородниковы встречались мне в жизни. Но Генка-то был мал и глуп, голоден и бит, а я встречал их — сытых, переполненных самодовольством. Эти генки смородниковы подкарауливали меня в самые смутные моменты моей судьбы, когда, казалось, некуда было деться, кроме как в грязь, предлагали свои услуги. И если хоть в чем-нибудь я не сдался им, то должен быть благодарен Елене, благодарен просто за то, что она жила.

Но об этом я догадался только сейчас, когда ее уже нет на свете.

А тогда она была живая и красивая. И я не знал, что такую могут убить на войне. А если бы мне и сказали, я бы ни за что не поверил.

Я смотрел на нее, видимо, недолго. Но еще

раньше, чем она ушла, я уже думал о том, как будет ужасно, если она меня заметит.

Мне хотелось, чтобы она осталась моей тайной.

А она чему-то рассмеялась и убежала на кухню. Я вскочил (и пружины не звякнули!), перелез через подоконник, встал носками на выступ в стене и прыгнул спиной вперед. Лететь было до озноба страшно. И перед тем, как больно удариться о землю, я успел подумать: хорошо, что Елена никогда не узнает, что я видел ее.

Мне показалось, что внутри у меня все оборвалось. Сначала я и не догадался, что вывихнул ногу; преодолевая боль, встал на четвереньки, добрался до заборчика и лег на траву.

Через некоторое время я попробовал встать и чуть не взвыл, отдышался и пополз вдоль заборчика, думая только о том, чтобы никто меня не заметил.

Лоб покрылся холодной испариной. С каждым шагом подтягивать правую ногу было все больнее. И лишь взобравшись на скамейку и кое-как положив на нее ногу, я свободно вздохнул.

Но не мог прийти в себя. Бывают события, которые переживаешь не столько когда они происходят, а — потом и остро-отчетливо. Так было и со мной, хотя совсем недавнее событие казалось мне не то приснившимся, не то просто промелькнувшим в сознании. Я как бы вновь оказался в комнате, сел в старинное кресло с короткими ножками, и — вошла Елена. Вспомнив это, я закрыл глаза и снова увидел ее. И уже тосковал, что такого больше со мной никогда не случится.

Потому что все настоящее бывает в жизни только раз — впервые. Настоящее неповторимо. Истина эта банальна, но банальность не освобождает ее от жестокости. И сколько человек ни обманывает себя, сколько ни тщится повторить неповторимое, а — не получается. С годами, хоть немного, да черствеешь, из чувств, хоть немного, да уходит чистота, исчезает наивность, каждый поступок контролируешь жизненным опытом, в основе своей расчетливым и недоверчивым. Но зато он и помогает — конечно, с опозданием — определить, что же именно в твоей жизни было настоящим, первым.

\* \* \*

А многое настоящее, как ни странно, происходит в детстве. Или в юности.

Разумеется, обо всем этом я думал, сидя на обледенелой скамейке на берегу застывшей Камы, а не тогда, когда после прыжка со второго этажа размышлял о Елене, забыв о вывихнутой ноге.

Если бы ни эта нога, я убежал бы в лес. Он был неподалеку. Я любил бродить там, когда со мной случались радости или беды.

Сейчас мне хотелось быть одному.

Подошла Елена, и сначала я даже не узнал ее.

— Смешной ты какой-то, — сказала она, — Чего глаза вытаращил? — и рассмеялась.

— Ногу вывихнул, — гордо сказал я и чуть не добавил: из-за тебя.

— А ну... — Елена прикоснулась к моей ноге. — Да не бойся! — прикрикнула она, когда



я дернулся. — Я ведь в санитарном кружке...

— Боль по ноге проскочила через тело в затылок и... растаяла.

— Вот и все, — сказала Елена.

А мне вдруг стало грустно. В моем сознании никак не могли слиться в один образ та Елена, которую я видел недавно, и вот эта, сидевшая рядом.

— Витька тебя ищет, — сказала она. — А ты откуда прыгал?

— С чего ты взяла, что я прыгал? — грубо отозвался я. — Просто бежал и...

— Ах! — она закинула руки за голову, выгнулась, закрыла глаза. — Какой я сон видела... Но ты маленький, не поймешь...

— Если у меня нет невесты, то еще не значит...

— Не сердись, — она улыбнулась мне, и глаза ее потемнели, — ты лучше всех мальчишек.

И я бросился бежать.

— Куда ты? — крикнула она вслед.

— Никуда! — ответил я, не останавливаясь.

Бежалось необычно легко.

Как я не разбил себе лоб о деревья, понятия не имею. Я пошел шагом, лишь когда стал спотыкаться от усталости. Долго бродил я по лесу, ни о чем не думая или обо всем сразу. Тогда я не знал, что прощаюсь с детством. А в каждой разлуке есть хотя бы оттенок тревожной грусти. Но грусть была светлой и не настораживала. Я был счастлив.

Домой я не возвращался, пока не начало темнеть. И опять, как вчера, в темноте я думал о своей жизни. Что-то в ней очень изменилось.

Она стала куда интереснее, чем была вчера. И сам я показался себе до того взрослым и сильным, что пощупал мускулы.

Жизнь представлялась мне широкой дорогой, уходящей к далекому горизонту, над которым небо — голубое, как глаза Елены.

Назавтра началась война...

...Я еле поднялся со скамейки: до того онемели ноги. Руки так замерзли, что не удалось прижечь сигарету. Стыдно мне было: почему я не смог рассказать отцу Елены о ней? О том, что помню ее, о том, что благодарен судьбе за встречу с ней?

Нет, мне многое надо еще сделать, чтобы не было стыдно перед Еленой, Витькой, их отцом и даже Генкой Смородниковым...

## Жора Суслов и его красивые женщины

Все время, даже сквозь сон, хотелось есть. В пятом часу утра я был уже на ногах, поднятый пронзительным голодом. Именно он как бы вытаскивал меня из постели, но сразу разбудить не мог. Не просыпался я и на кухне, где, содрогаясь от холода, плескал в лицо ледяной водой. Просыпался я лишь по дороге к хлебному магазину, около которого уже стыла очередь. Время ее возникновения навсегда осталось для меня загадкой: как бы рано я ни приходил, очередь уже была.

Боже, как холодно... Через несколько минут начинало казаться, что на мне — совершенно отдельно от меня — промерзшее пальто, а внутри него — замерзший я, и совершенно не соприкасаюсь с ним.

Бесполезно было размахивать руками, подпрыгивать. Очередь мерзла неподвижно и безмолвно.

Святые это были очереди. В них стояли люди, без которых никакая, пусть даже самая великолепная армия не выиграла бы войны. Полководцы могли рассчитывать не только на солдат и офицеров, но и на людей в этих очередях. Они не были покорны тяжелой судьбе или просто терпеливы, они были мужественны и едины. В очереди они стояли как в строю.

Часам к шести меня сменяла мама. Она не доверяла мне хлеб: по дороге домой я мог, проклиная себя, отщипать и сглотать то количество теплой, почти горячей мякоти, которую полагалось съесть дома с кипятком.

Соседи у нас были — хуже не придумаешь. В одной комнате бывшей нашей квартиры поселились мать и дочь, эвакуированные из Киева. Дочь, роскошная, молодая женщина, бесстыдная и наглая в каждом движении, всегда полуодетая, по профессии художница; ее мамаша казалась старшей сестрой своей дочери.

А тело дочери было настолько богато, что, когда они с матерью появились у нас в квартире, никто и не заметил, что художница беременна. Просто месяца через два у нее вдруг родилась дочка.

Сначала мы жили дружно, жалели их, помогали им. Художница писала портреты и относила их еще непросохшими.

Но вскоре соседи разжились. Мать художницы поступила куда-то в какой-то контроль, и еды у них стало много. В квартире запахло съестным, а от запаха ведь не спрячешься. Временами мне делалось муторно — это когда они ели в соседней комнате. А ели они очень долго и очень хорошо. И чем лучше они ели, тем сами были — хуже.

У меня кружилась голова, в животе урчало, резало. Не выдержав, я уходил из комнаты, косил глазами на тарелки (между прочим, наши), стоявшие на столе (на нашем) перед неоконченным портретом, и — убредал куда-нибудь.

Иногда эвакуированные из Киева давали мне остатки закившего супа, причем делалось

это почти со слезами и так настойчиво, что отказаться было невозможно. И лишь много лет спустя я догадался, почему меня угощали: ведь съев чуточку супа, я был обязан вымыть посудину. Ну что ж, тоже работа и тоже заработок.

Кроме портретов художница рисовала голую женщину. Она сама была бесстыдна, а женщина на картине — еще хуже. И я не сразу догадался, что художница рисовала себя.

Во второй комнате жил москвич — режиссер, актер, писатель, преподаватель и еще бог знает кто. Он все умел, все понимал, все знал, он был переполнен знаниями (сейчас это называется информацией) и самомнением. Это был великолепный верхогляд с невероятной памятью. Вдруг прочтет мне лекцию по истории кино, потом принесет из библиотеки портфель киносценариев. В другой раз расскажет историю авиационного тарана. Я слушал его импровизации о балете, футболе, западной поэзии, обычаях древних народов, гипнозе, истории философии; он помогал мне готовить задания по математике, геологическим наукам, делился мыслями о жизни и искусстве. Потом он мог заявиться к нам и ни с того ни с сего сказать маме, что я неразвитый субъект, невоспитанный, и с дурными наклонностями, и так это убедительно мог доказать, что я не знал, как возразить, а мама долго плакала. И он немного мог почти поплакать. Однажды он подарил мне настоящие, с позолотой запонки. А через несколько дней так громко искал их, что пришлось вернуть...

Жена его молодая, но бесцветная женщина, молчаливая, навсегда им напуганная, была ба-

лериной, но муж направил ее работать куда-то, откуда она приносила судки с обедами.

В третьей комнате, самой небольшой, остались мы с мамой. И еще была одна комната, не наша, отдельная, с входом из коридора — перед кухней, у самых дверей на лестницу. В этой комнате неподолгу жили разные люди, с которыми мы не успевали и познакомиться толком. А вновь вселявшиеся объясняли, что их предшественники получили более удобное жилье или угодили в тюрьму.

Но как-то в этой комнате поселился маленький, рыжий, с желтым в крупных веснушках личиком, мокроносый, одетый в широченные галифе и черный, наглухо застегнутый френч мужчина. Еще носил он высоченную каракулевую папаху, кожаное пальто с каракулевым же воротником и белые фетровые валенки.

— Жора Суслов, — тоненьким тенорком представился он и запретил называть себя иначе. — Я только Жора и просто Жора, — повторил он несколько раз на всякие лады — от жалобного до высокомерного.

Он приходил поздним вечером, пьяный, шумный, почти визгливый, вваливался к нам, потому что считал маму хозяйкой всей квартиры, приносил то сахар, то банку тушенки, то еще что-нибудь, а мы были обязаны все тут же при нем съесть и слушать его рассуждения. К чести Жоры надо отметить, что он с удовольствием наблюдал, как мы едим, и радовался за нас.

Жора страдал от обилия мыслей, они мучили его, разрывали ему сердце, доводили до слез и отчаяния. И он, сбегав в свою комнату

и принеся с собой бутылку и еще закуску, заставлял нас есть и слушать.

— Я вас уважаю, — объяснял Жора, — очень уважаю. Иначе зачем бы я угощал вас? Потому что вы стараетесь понять про меня. Если бы не было войны, кем бы я был? Никем бы я не был. Почему же рыжий, сопливый Жора Суслов, то есть я, сейчас живет, как король? Потому что война. А вы знаете, кого больше всего ненавидит Жора Суслов? Больше всего на свете Жора Суслов ненавидит красивых женщин. Почему? Да потому что они ненавидели бы его, если бы не война. Война заставила красивых женщин обратить внимание на Жору Суслова и делать вид, что он им ужасно нравится. Мне морально противно, когда они ласкают меня и...

— Жора... — тихо и виновато перебивает мама, — понимаете...

— Понимаю, конечно, понимаю! — отвечал Жора, не замечая, как от еды мы согрелись, осоловели и захотели спать. — Мое горе в том, что я понимаю слишком много... А вы знаете, за что я полюбил вашего мальчика? Я полюбил его за то, что он помог мне, когда еще не имел сведений, кто я такой. Он принес мне ведро воды. Не потому, что я Жора Суслов, а потому, что я просто человек. Понимаете? А мне никто ничего не делает бесплатно. Мне это льстит, но сердце все же из-за этого рвется на куски. И красивые женщины ничего не делают для меня бесплатно. А если со мной что-нибудь случится, они плюнут в мою сторону. А я утру свой хронически сопливый нос... — тут он взрыднул и выпил.

Жора был силен и даже неотразим тем, что не только сознавал свое ничтожество, но и наслаждался им.

— Ваш мальчик, мадам хозяйка, — кричал он, — принес мне ведро воды! Просто мне была нужна вода, а он просто принес ее! Вы можете понять, как это дорого? Я бы мог отоварить вас, сделать вас сытыми, но вы же откажетесь. А они, а никто не отказывается! Они все требуют с Жоры Суслова счастья для себя! Вы только подумайте и приценитесь: я имею силу! Смешно! Некрасиво! Кому война, а для меня видите — что...

Тут Жора начинал плакать, а плакал он так же, как делал все другое — открыто, не боясь выглядеть смешным.

— Мне стыдно из-за людей... — сквозь всхлипывания и сморкания вскрикивал он. — Стыдно! Ужасно стыдно!.. Это невыносимо! — наплакавшись и еще приложившись к стакану, Жора продолжал рассуждать, не замечая, конечно, что мы с мамой почти спали сидя. — Природа отняла у меня почти все. Вот, одна нога короче другой. Так это еще пустяк. Но меня из-за этого не приглашают даже на тот предмет, чтоб я погиб смертью хотя бы не очень храбрых. У меня отняты возможности стать простым выдающимся человеком. В общем, война сделала из меня Жору. А Жора, я вам расшифруюсь, хозяйственник... а честно говоря, снабженец... Между прочим, Жорой меня прозвали эти... красавицы... Как видите, у меня даже имя и то... ворованное. Иногда я не могу заснуть. Лежит рядом со мной красивая женщина, — пальчики оближешь... А морально мне скверно, я думаю: какие мы с



ней гадины. И еще неизвестно, кто больше гадина... Зато я имею то, чего не имеет большинство. Я ем, пью, удовлетворяю все мои потребности. Я ни в чем себе не отказую. Я...

И чем больше он хвастался, тем было его жальче. Потом жалость переходила почти в отвращение, если не в брезгливость. Словно догадываясь об этом, Жора распалялся. Лицо его багровело, веснушки белели, под носом почти высыхало, он кричал:

— Я человек или не человек? Я человек, но за человека меня не считали. Меня теперь считают человеком. Да, да, меня теперь считают человеком!

— Но ведь не правда это, — просила испуганно мама, немного отдохнувшая, — не все же люди...

— Нет, нет! — умолял Жора. — Все, все!

— Вы не имеете оснований...

— Я имею все! — Жора тяжело вздыхал, переживал, вздыхал еще тяжелее и повторял скорбно: — Я имею все. Но я бы не хотел этого иметь. Я бы хотел иметь маму, жену и детей. Но мамы я не буду иметь, потому что она умерла. Жены я не буду иметь, потому что это будет не жена, а... извините за выражение, что это будет. Меня ведь никто никогда не полюбит. — Жора ненадолго замолкал, начинал моргать глазами — он устал от самого себя: вскакивал и, кивнув, быстро уходил, почти убегал, прихватив недопитую бутылку.

Да, женщины у него бывали красивые. Я встречал их на кухне, куда они обыкновенно заходили от нечего делать. Некоторые из них просили у меня что-нибудь почитать. Меня поражало то, что все они были невеселые, в

глазах у них обязательно жила тоска или скука. Они, видимо, не знали, чем им заняться до прихода Жоры. Временами мне даже подумывалось, что они завидуют нам, голодным.

Было у всех этих женщин что-то общее, чего я долго не мог уловить. Даже в их красоте было что-то одинаковое, то ли бросающаяся в глаза необыкновенность, то ли отсутствие связей с нашей жизнью, которой жили мы с мамой. Они были как бы из другого мира. И этот мир был в комнате Жоры, из которой всегда, даже через дверь густо пахло съестным еще сильнее, чем из комнаты художницы. Однажды, невольно задержавшись около двери в комнату Жоры, я до боли в ноздрях подышал запахами еды и вдруг понял, что все его женщины пахнут этим густым, этим невероятным запахом еды, который перебивал запахи духов и молодого тела. И тут же я сообразил, что необыкновенность этих красивых женщин проистекает от их сытости. Все они ели вдоволь, а мы с мамой голодали. И женщины Жоры перестали поражать меня своей красотой, а если и поражали, то примерно так, как открытая банка американских сосисок — предмет моих самых сильных вожделений. Они, женщины, были необыкновенны и недоступны для меня, как американские сосиски. Ведь и сосиски тоже были очень красивы.

И еще я запомнил ощущение несчастья. Я и сейчас могу вздрогнуть, вспомнив пронзительность этого ощущения. И вслед за ним я вижу промерзлую кухню, в которой я стараюсь не дышать, чтобы не закружилась голова от запаха сытой красивой женщины... Странно: я не запомнил их лиц, помню, что все

они были красивы, и красоты у них было много.

А вот одна из них — по имени Бэла — сохранилась в памяти вся. Впервые она явилась на кухню вечером, когда я пытался читать при свете пламени примуса. По коридору что-то зашелестело, я приготовился вдыхать съестные запахи и видеть очередную красоту, но неожиданное предчувствие чего-то необычного, родившееся от непонятного шелеста в коридоре, заставило меня обернуться к дверям.

Передо мной стояла высокая женщина в длинном черном халате.

— Бедный мальчик, — сказала она, — ты испортишь себе глаза. — И у меня почему-то сладко заняло сердце. — У вас нет лампы? — спросила женщина. — Или экономите керосин?

Голос у нее был густой, но прозрачный, она не говорила, а как бы намеревалась петь и вспоминала забытую мелодию, вернее, выбирала из нескольких мелодий одну.

Женщина, шелестнув халатом, подошла ближе, внимательно оглядела меня и сказала:

— Мое имя Бэла. Не Белла, а Бэла. Тебя я знаю, как зовут. От Жоры. Я велю, чтобы он дал тебе керосина. А ты дай мне что-нибудь почитать.

Я принес ей «Маленькую хозяйку большого дома», и на другой вечер, возвращая книгу, Бэла сказала:

— Я от души поплакала. Действительно, могло быть так, как описано? Или это все придумано?

Как мог, я объяснил ей. Она задумчиво кивала головой и заключила:

— Значит, выдуманно. Но я все равно плакала. Ты хочешь есть?

— Не буду.

— И презираешь меня?

Я пожал плечами. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не смотреть в ее сторону.

— Это потому, что ты ничего не понимаешь, — грустно проговорила Бэла. — У меня брат на фронте. Если бы он знал... Я с мамой живу. В бараке. В угловой комнате. Холодина, сколько ни топи. И дети кругом плачут... Пойдем, я покормлю тебя?

Я промолчал, и она продолжала:

— Знаю, знаю. Жора мне рассказывал о тебе. Вот ты бы мог вынести пытки? А ведь голод — тоже пытка. Я не выношу голода. Я боюсь голода. Я не могу быть голодной. Мне кажется, что я тут же умру. — У нее даже голос дрогнул. — И получается так: я ем, а меня ест совесть. У меня был бы выход, если бы я могла полюбить. Хоть кого бынибудь. С кем и голодать не страшно. Но я ни разу никого не любила. Я не успеваю разглядеть человека, а он меня уже хочет любить.

— Но ведь Жора вас не любит, — вдруг сказал я.

— Конечно, — согласилась она. — Он добрый, но очень глупый. Оба мы с ним любим. Есть мы любим. Давай я тебя покормлю? У нас пропасть всякой еды. Или давай мяться: ты мне книгу, какую не жалко, а я тебе консервов?

В кухне появился режиссер. Я сразу понял, что мешаю ему. Он выразительно пучил на меня глаза, говорил:

— В доброе довоенное время такую женщину я был просто обязан пригласить в ресторан пообедать... А сейчас... — и он хохотал, потирая руки. Он был огромен, большеглаз, волосат, но сколько-то лет назад, верно, и красив.

Бэла молчала.

А голос режиссера исходил откуда-то, будто из самой глубины организма, напряженный, почти твердый:

— Трудно поверить, что на свете еще сохранилась такая красота. Боюсь показаться банальным, но...

— Вы же старый, — сказала Бэла, и даже это не прозвучало у нее грубо, — и у вас не на что пригласить меня обедать.

И режиссер не обиделся: по-моему, он был просто не в состоянии сейчас что-нибудь понимать и, как глухарь в брачном экстазе, ничего не слышал, а говорил свое:

— Мне всегда казалось несправедливым, когда мимо меня, понимаете, мимо меня проходила красивая женщина. А сейчас я счастлив хотя бы тем, что могу видеть такую женщину. Клянусь! — почти прохрипел он. — Я же впервые вижу вас, всего несколько минут, а...

— А кажется, что знаю вас всю жизнь, — досказала за него Бэла и ушла.

Тогда режиссер сказал мне:

— Ты бы мог догадаться выйти, когда разговаривают взрослые.

— Она с вами и не разговаривала, — ответил я, испытывая что-то похожее на ревность.

— Ты бы лучше помалкивал! — взъярился он. — Ты совершенно распустился! Да ты хоть знаешь, кто она такая?.. Откуда тебе знать... Но — красива... — Он развел руками. — Как

говорится, найти бы место, где такие на свет появляются. Верится, что таких создают не люди, а сама природа. Ну вот как она создает облака, цветы...

На мгновение мне показалось, что передо мной сидит сумасшедший: глаза его и без того большие неестественно расширились, застыли, хотя и блестели; он побледнел, бормотал:

— Боже, боже, неужели все прошло? Неужели больше ничего не будет? — Он тяжело передохнул, подержался, сморщившись, за бок, встал. — Вот так... ничего ты не понимаешь. А когда поймешь, поздно будет.

А я понимал все. Я бы мог ему напомнить, какой у него был голос и откуда он исходил, когда здесь была Бэла. Но мне было жаль его. Я ненавидел, презирал и жалел его одновременно.

Вечером он пришел к нам озабоченным, мама сразу испугалась, и он начал, измучив ее молчанием:

— Не считаете ли вы несколько странным поведение вашего сына? Он все время на кухне с одной из этих... понимаете?

— Нет. — Мама так и села.

— Чему она может научить его? — вопрошал режиссер. — Женщины подобного сорта не останавливаются ни перед чем. Им наплевать на нравственность. Я, естественно, прошу извинить меня, но если вы не видите, а он не понимает, то мой долг... согласитесь, долг порядочного человека... Я обязан предупредить. Вы же знаете, что в молодости человека взрослеют чувства, а в зрелые годы — ум. Надо бережно и строго относиться к чувствам, ведь любое из них может захватить молодого чело-

века целиком. Бедное сердце бывало и опошлено, и превознесено, и воспето, и оболгано, а ведь долгое время человека по жизни ведет одно оно. Если оно доброе, то приведет к доброму уму... А ваш сын начинает жизнь с того, что может вверить сердцу — кому?!

Режиссер говорил и говорил.

Мама страдала. У нее сердце было доброе, у него — злое, у меня — еще никакое.

Он мучил маму, и я спросил его:

— Тогда почему же на кухне вы за ней ухаживали?

— Я?! У...ухаживал?! — Режиссер вскочил, но сразу сник, сел. — Я просто отдал дань уважения красоте. Красоте — вообще. Не больше. А тебя я предостерегаю. Ты не представляешь, чем занимается эта красотка.

— Не надо, — попросила мама умоляюще. — Он больше не будет.

— Чего — не будет? — вырвалось у меня.

— То, что... ну, тебе действительно. зачем торчать на кухне.

— Хорошо. Примус перенести в комнату?

— Ты грубишь матери, — оскорбленно произнес режиссер. — Сознаться честно, что ты не можешь перебороть нездорового любопытства.

— Я не знаю, что вам от меня надо.

— Вот ты грубишь уже и мне! — удовлетворенно воскликнул режиссер. — Прекрасно, дожили!

— Я не грублю вам, — ответил я, начиная понимать, что защищаю не себя, не маму, а Бэлу. — Я не сделал вам ничего плохого, и вы не имеет никакого права...

Тут вошел Жора, как он всегда входил к

нам, — без стука, неожиданно, быстро; долго молчал и потом сказал:

— Я глубоко извиняюсь. Но мне не с кем разделить мыслями. Да и на душе у меня... плохо.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — обреченно пролепетала мама.

А Жора был великолепен. Он изрядно выпил, мысли одолевали его, он придал своему лицу наиболее глубокомысленное выражение, на какое только был способен, скрестил руки на груди и гордо начал:

— Рано или поздно меня посадят. Этот факт не подлежит обсуждению. Только осуждению. Вы — останьтесь, — королевским жестом остановил он режиссера, поднявшегося, чтобы уйти. — У меня до вас тоже есть дело. Вы будете отвечать на мои вопросы, а потом мы сядем за стол.

И режиссер хохотнул подобострастно, но с оттенком презрения — для меня с мамой.

— Ответьте! — приказал ему Жора. — Если вы такой умный. Для чего человек живет на свете? Цель?

— Вопрос странен, — напыжившись, проговорил режиссер. — По крайней мере, сейчас.

— Да, вы считаете себя умным, — страдальчески заметил Жора. — Нет. Я вас умнее, а меня посадят в тюрьму. Потому что я зарвался. А вы заврались. Я несчастный человек, это понятно. Меня вообще зря родили. Таких, как я, нельзя производить на свет. Это подло! Это безнравственно!

— Боже, — прошептала мама.

— Бога нет! — отмахнулся Жора. — Люди должны быть красивыми, умными, честными.



— Вы абсолютно не правы, потому... — начал режиссер, но Жора оборвал:

— Я прав больше, чем абсолютно. Если бы я умел выражать свои мысли, вы бы от них ахнули.

Между прочим, когда вспоминаешь прошлое, не всегда удается уловить разницу между тем, как думал тогда и как думаешь сейчас. На иных мыслях сохраняются явные приметы времени и возраста, на других — таких примет нет, и не определить, когда же родились некоторые из них. И вот я не могу уяснить: то ли через много лет я составил излагаемое здесь впечатление о Жоре, то ли оно тогдашнее. Во всяком случае, отчетливо помню, что я его понимал больше, чем другие.

— Убедите меня, — уже не требовал а просил Жора, — убедите меня в том, что лично в моей жизни есть смысл, кроме поесть, поспать и всего такого прочего.

— Жизнь сама по себе — благо, — провозгласил режиссер. — У вас или плохое настроение, или усталость, или...

— У меня совесть. И она иногда дает о себе знать. Я бы не стал садить меня в тюрьму. Это для меня маленькое наказание. Я бы отпустил Жору Суслова на все четыре стороны. Маленького, сопливого Жору Суслова, у которого одна нога короче другой... На меня рассказывают, что я добрый. Это клевета. Я иногда получаюсь добрым. А вообще, я мерзавец с низким моральным уровнем. Меня надо отпустить на все четыре стороны. Это мне будет хуже тюрьмы. Я перестану быть Жорой Сусловым. Все от меня отвернутся. Идемте.

Надо было видеть, как рванулся к дверям режиссер. Он пропустил Жору вперед, но Жора покровительственным взглядом уступил дорогу и сказал мне:

— И ты иди. Я тебе кое-что дам. — И маме: — Не волнуйтесь. Ваш мальчик — человек.

— Не задерживайте его, пожалуйста, долго, — вслед попросила мама.

Я пошел, конечно, не за подарком. Мне хотелось взглянуть на Бэлу.

Она сидела перед зеркалом и расчесывала волосы, через плечо посмотрела на нас, сказала:

— Я вынесла керосин на кухню. Можешь больше не экономить.

— Мы решили выпить, — мрачно сказал Жора. — С ума сойти, до чего мне мерзко. — Он достал из шкафа банку колбасы. — Чикагская. Это маме от всего сердца. Просто больше у меня ничего нет. Я могу выражать чувства только продуктами и промтоварами.

Я задержался на кухне. Стоя в темноте, я горько сожалел, что мне всего шестнадцать. Ощущение несчастья кольнуло сердце... Вернувшись в комнату, я лег. Я страдал, но — с удовольствием. Словно догадываясь, что в страданиях душа мукает, я и искал поводов испытать их. А лучший повод для этого — разнесчастная любовь.

Не всегда бывает так, что тот или иной человек или событие будят в тебе мысли и чувства, случается и наоборот: жизнь уже подготовила, подвела тебя к чувству, и ты ищешь человека, к которому оно может быть отнесено. Поэтому нет ничего удивительного в том, что размышления о Бэле помогали мне забы-

вать даже о голоде. До встречи с ней я полагал себя убежденным женоненавистником: словно предчувствуя изобилие женской красоты в мире, я смутно боялся ее власти, надеялся оградить себя от связанных с ней тревог, потрясений и горя. Я и тогда подозревал, что встреча с красотой не всегда приводит к добру, хотя бы потому, что она не способна успокоить или надолго утешить. Как ни странно, красота может надоесть, но удовлетворить — никогда. Она всегда — неутоленная жажда. Но откуда мне было знать тогда, что в этом ее смысл и сила?

— Ты спишь? — среди ночи спросила мама.

— Сплю, — машинально ответил я.

Мама вздохнула.

Первая в жизни бессонная ночь. Первое судорожное от предчувствий колотенье сердца. Главное, что я несчастен, из-за нее несчастен! И сквозь все ощущения — голода, несчастья, тревоги пробивались надежда и радость, от которых я устал до того, что заснул. Уснул я сразу и глубоко, даже не слышал, как собиралась в очередь за хлебом мама. Увидел я сладкий и стыдный сон, от которого проснулся обессиленным, оглушенным и счастливым.

Мама вернулась недовольной — не выпалась потому что, сказала сердито:

— Не забудь вчерашнего разговора, сделай выводы.

А я старался не забыть того, что видел во сне, и все-таки сон улетучился, не оставив в памяти ничего.

Мне стало грустно, потом — все равно. Я решил не идти на занятия в техникум, лежал, ни о чем не думая, и страдал уже без удовольст-

вия. Мне стало совсем плохо, когда я вспомнил об отце: вдруг его часть именно сейчас отправляют на фронт, а я дурак дураком... Какое я имею право вот так валяться в постели, ведь я должен был идти в техникум через Комсомольский сквер, где из репродуктора, казалось, на весь мир — «Идет война народная, священная война»... Жизнь моя тут же представилась мне ничтожной и нелепой, а сам я — амебой какой-то. В голову проникла дикая мысль: стать еще ничтожнее — съесть банку колбасы, подаренную вчера Жорой, съесть всю, одному... На преступление меня толкал не голод, но нечто, похожее на желание сотворить настоящий грех, чтобы хоть в нем, да не быть мелким, ничтожным. Хуже всего, когда ты — ничто...

Весь строй жизни, образованный войной, каждому человеку придавал значительность, ставил его вровень со временем, каждый был незаменим, каждый был на вес золота, у всех была одна забота. Когда я надрывался на лесозаготовках или косил рожь, или даже когда полыл морковь под палящим солнцем, — я ведь верил, что иду в атаку на фашистов.

Сейчас же ощущение ничтожности рождалось несоответствием между серьезностью жизни, в которой люди были сомкнуты общей бедой, волей и общей надеждой, и — моими личными переживаниями... Теперь-то я о них не жалею, а тогда — худо мне было из-за них.

Я вспомнил о сне, в котором сладко и стыдно видел Бэлу, испугался, словно она могла узнать об этом, и хотя я сам уже не мог восстановить в памяти сна, встречи с ней боялся до того, что еле-еле заставил выйти себя на кухню. Да и все равно в комнате нельзя было оставаться:

от соседей так и несло запахами съестного. Разобрать было невозможно, чего они там ели — хорошо и долго, да и вообще любая пища имела для меня один запах; я прошел через пропитанную этим запахом комнату, провожаемый суровым взглядом недорисованного вождя, и мне еще горше стало и за себя, и за все...

Я поставил чайник на примус, грел руки и мерз еще сильнее.

Рядом появился озабоченный режиссер, долго слюнявил самокрутку, потом жадно, с причмокиваниями курил и заговорил совсем неожиданно и быстро:

— Вчера я пережил ужасное потрясение. Просто немыслимое. Я вдруг понял, что я еще не стар, но уже — не молод. Опять, что ли, переходный возраст? Сколько их может быть? В общем-то, ясно все. Сначала жизнь состоит из бесконечных, часто не требующих усилий приобретений, затем — потеря, видимо, тоже бесконечных. Последняя потеря — само существование. Уход. Переход. Переезд. Вынос. Жаль, как жаль, что смолоду я был избалован всем. У меня не просто было все, что мне требовалось, у меня всего было — чересчур, лишка. Но зато я и не приобрел ничего, что можно было бы пронести через всю жизнь. Сказка о золотой рыбке имеет ко мне самое непосредственное отношение. Я и сам — разбитое корыто... А почему ты не в техникуме?

Я хотел соврать, но ответил:

— Не знаю. Не пошел.

— Смотри, смотри, — многозначительно и даже угрожающе произнес режиссер. — Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь харак-

тер, пожнешь судьбу. Есть такая пословица. Кажется, английская... Кто вот сейчас поверит, что я был красив и талантлив? Ну ладно, красота связана с возрастом. Но куда делся талант? Ведь он был, я знаю...

Слушал я его рассеянно, не видя в потоке торопливых слов ничего для себя интересного. А он говорил, словно пьянея от своих слов, каждой фразой как бы возбуждаясь:

— Уходят дни — это я не в философском смысле, а просто, фактически. Вот сейчас я разговариваю с тобой, а жизнь моя идет, уменьшается. Вот секунда прошла, вторая... и так далее. И целый день пройдет. И хотя дней в жизни пропало великое множество, года из них составить можно, каждого дня — жаль. Во мне недавно появилось ощущение длительности жизни. Понимаешь? Я физически, оказалось, чувствую, что она у меня — не бесконечна. Понимаешь? Не то, что я скоро умру, а вот когда-нибудь... обязательно.

Он свернул самокрутку и молчал, пока не затянулся несколько раз подряд.

— Мне бы вернуть молодость, я бы... я бы все — наоборот! Не то чтобы я был пошляком. Нет. Но тем не менее... Вот посмотри. На красоту уповают, как на добро, хотя она и оно не так уж часто совмещаются в одном человеке. Красота-то — явление исключительное. И далеко не все понимают ее или понимают, но превратно. Вот я не понимал. Для меня красивая женщина была просто приятнее, чем обыкновенная. А это чушь. Ее значение — выше!.. А бывают люди, вообще не восприимчивые к женской красоте. А есть еще дураки, которые противопоставляют физическую красоту кра-

соте духовной. Уразумей, если способен: противопоставляют, и физическая почитается не за первый сорт. Чушь! Ты только слушай меня внимательно. Сейчас я постараюсь поймать эту мысль. ...Понимаешь, уже одно восприятие красоты — это уже духовный акт... Как содержимое нельзя отделить от формы... — Он крутил передо мной руками, словно этим помогая себе найти слова и расставить их в нужном порядке. — Понимаешь, когда я смотрю на просто красивую женщину... — руки его замерли, пальцы еще некоторое время беспомощно шевелились, дернулись, и руки бессильно упали. — Или все это чушь? — спросил он. — Чушь... Ведь в жизни много чуши... Да, чу-у-ушь... — прислушиваясь к этому слову, повторил он, и слово это ему понравилось. — Все — чушь.

И режиссер надолго умолк, сник. Тут я понял, что ему тоже не с кем разговаривать, кроме меня. Я ведь слушал его, а молчание могло сойти и за согласие. И Жоре не с кем было разговаривать, и Бэле. Только эвакуированные из Киева художница и ее мать не ощущали, видимо, потребности рассуждать.

В кухню заглянула и исчезла молодая и бесцветная жена режиссера.

— Ла-аадно, — протянул он мрачно. — Что-то я сегодня... разговорился. А ты зря пропустил занятия в техникуме. Мама очень расстроится, если узнает.

Он посидел еще немного и ушел, так и не дождавшись Бэлы, из-за которой, конечно, он тут и оказался.

Да, мама очень расстроится. Ей все мерещится, что я вот-вот сотворю какой-нибудь не-

сусветный проступок и меня исключат из техникума. А это значит, что я останусь без стипендии и вместо рабочих продовольственных карточек буду получать иждивенческие...

Не знал я, куда деться. Я понимал, что в техникум я не пошел единственно из-за того, чтобы побыть со своим горем, отдаться ему, а сейчас уже стыдился этого. Была у меня такая способность — поддаваться горю, впитывать его в себя и только потом с ним бороться. Я как бы заманивал горе в свою душу, чтобы победить его там, в глубине.

Почему же — горе? Отчего же я ощущаю себя ничтожным, несчастным?

В кухню вошла Бэла, поздоровалась, но больше ничего не говорила. Я не поднимал глаз, будто она знала, что я видел ее во сне. Я чуть не дрожал от холода, у меня даже уши замерзли, но когда она оказалась рядом, уши у меня горели...

— Я здесь долго не задержусь, — сказала Бэла. — Жора, видно, проворовался, дурак.

Удивительно, что самые пошлые слова, произнесенные ее голосом, как бы теряли свое настоящее значение, превращались в нечто противоположное.

В черном халате до полу, с полураспущенными густыми черными волосами, большими темно-голубыми глазами, Бэла в нашей убогой кухне могла бы показаться прекрасным видением, если бы — не курила.

— Вы курите?! — вырвалось у меня.

— Иногда. Когда отвратительное настроение. Вот как сейчас. Хоть вешайся. Я, конечно,



не повешусь, но думать о таком выходе из положения буду. Сейчас слушала по радио письма на фронт и вся изревелась... Ведь и не сволочь я... хуже бывают. Сама воровать не могу, но живу ворованным... Мне бы еще подлости или наоборот, честности, а я...

Она ушла.

В душе у меня была горькая пустота. Я торчал в промерзшей кухне, уставясь на остывший чайник, и думал о Бэле, вернее, не думал, а пребывал в каком-то состоянии, связанном с ней, с ее существованием в моей жизни и предстоящей разлукой. Мне бы надо было как-то вырваться из этого состояния, сходить бы за дровами, вынести помой, истопить печь... Все эти обычные и необходимые дела казались сейчас мне бессмысленными. В то же время я сознавал, что если не сделаю их, то буду виноват и буду переживать.

Способность мучиться из-за пустяков, самому себе создавать их сохранилась у меня на всю жизнь. словно мало мне настоящих переживаний, я еще вдоволь обеспечивал себя мелкими неудобствами, словно намеренно избегал любой возможности хотя бы ненадолго побыть в покое, хотя бы в относительном самодовольстве.

Стоя на кухне, я мерз и мерз, пытаюсь увериться в невозможности бороться с унынием, сковавшим меня.

Будто на много лет вперед я догадывался, что до конца дней моих мне суждено переживать одну большую заботу, нести ее непрестанно. Я будто предчувствовал себя, того, которому надо еще долго и трудно существовать, и я не то что испугался своего жребия или пожа-

лел о нем, а впервые, пусть подсознательно, ощутил главную заботу своей жизни. Может, впервые я понял, что жить можно по-разному, что само по себе жить и называться человеком еще ровным счетом ничего не значит. И не до конца ли дней своих придется мучительно допытывать себя, а что все-таки из тебя получилось и не зря ли ты старался?

Долго я еще мерз на кухне. И подумалось мне, что если все эти взрослые догадаются о моих переживаниях, то вряд ли примут меня всерьез. А мама очень расстроится. Почему же я стараюсь понять этих взрослых, а они принимают меня за кого-то другого, не имеющего со мной ничего общего, кроме возраста и имени? Одна мама предчувствовала мою судьбу, и там, где мне казалась случайность или несущественность, мама угадывала опасность, потому что знала: в жизни цепь случайности часто оборачивается проявлением жестокой закономерности, уловить которую удастся, да и то не всегда и не каждому, лишь где-то в середине жизни. В предостережениях своих мама была права, а правота ее была до того страстна, нетерпима, что представлялась только следствием обычного материнского страха за любимое чадушко. Ее, мамину правоту, я принял лишь тогда, когда уже сам выстрадал свою правоту, которая тоже, может быть, никому не пригодится.

— Чего ты здесь делаешь? — услышал я удивленный голос Бэлы. — Холодно ведь здесь... А я все думаю, что же я буду делать, когда нас с Жорой разлучит милиция. Опять в барак? Ни за что. А что ты мне можешь посоветовать?

Я пожал плечами, и Бэла обиженно продолжала:

— Вполне допускаю, что тебе даже разговаривать со мной неприятно. Я и на улице чувствую на себе такие взгляды, что будто бы все про меня все знают. Мне ведь и поговорить не с кем. Вот только ты меня и слушаешь. Потому что ничего не понимаешь. Ты думаешь, что ты хороший, а я дрянь. Ты уверен, что ты хороший! — в ее голосе задрожало презрение. — Это лишь потому, что ты не знаешь, как стать плохим. Вот когда ты узнаешь и не станешь, тогда можешь гордиться. — Она резко, хотя и без усилия сменила тон на более спокойный. — Впрочем, зря я все это говорю. Ты хорошо молчишь. И начинает казаться, что ты сочувствуешь... Или ты боишься меня? А может, я тебе нравлюсь?.. Не надо. Ни к чему... Не дай бог, чтобы тебе встретилась красивая баба. Беги от них. Добрую ищи, а не красивую. Впрочем, может достаться и некрасивая, и злая...

В кухню вошел режиссер, а я ушел за дровами. Я колот мерзлые поленья и думал, как долго они, проледенелые насквозь, не будут разгораться, сколько с ними придется помучиться. Недавно мы вырубали их из льда на Каме, потом грузили на автомашину. Возиться с ними было обидно не потому, что они были тяжелыми и выскальзывали из рук, и каждое могло тебя покалечить, а потому что сперва их словно специально заморозили во льду, а потом стали продавать горемыкам вроде нас с мамой, у которых не было возможности достать другого топлива. Вот у Жоры дрова были — легкие, звенящие, пахли лесом, и жаль

было класть их в печь. Дрова ему носил я и за это имел право взять несколько поленьев для растопки.

Во мне навсегда сохранилось благоговение перед хорошими дровами, перед огнем, печью, в которой сильная тяга. Сейчас я понимаю, как это много значило — самому добыть дрова, разделить их, принести домой на руках, протопить печь и лишь потом получить необходимое для жизни тепло, которое сейчас идет от батарей центрального отопления.

И в тот день мне особенно хотелось, чтобы огня в печке получилось много, чтобы и мама, вернувшись с работы, посидела перед ним и помечтала, как мы будем жить после войны.

Я принес себе вязанку Жориных дров. Пусть сегодня в нашей комнате будет тепло.

Долго ли я буду помнить о Бэле и что же такое я к ней испытываю? Не одну ведь только жалость. Да и жалел я скорее не ее саму, а красоту ее. Но неужели красота может существовать и иметь значение независимо от той, кому она принадлежит?

Нащепав лучины, я растопил печь, и дрова затрещали весело-весело, словно хотели развеселить меня, а мне по-прежнему было грустно.

Тут явился Жора. Кажется, я впервые видел его трезвым.

— Сейчас я тебе кое-что покажу, — с гордостью произнес он и тяжело передохнул. — Произведение искусства. А ты мне честно скажешь, нравится тебе или нет. Мне кажется, что получилось здорово. Я ей хорошо заплатил. Идем! — резко и неожиданно позвал он.

Мы прошли в его комнату. Бэлы там не оказалось, и я сначала даже не мог сообразить, зачем же меня привели сюда.

— Ну? Ну? — нервно и нетерпеливо спрашивал Жора, больно толкая меня в бок, и только тут я увидел на стене портрет.

Первое, что мне бросилось в глаза, это прекрасно нарисованная еда: на краю стола две буханки хлеба, открытая банка сосисок, круг колбасы, на тарелке сахар, рядом две бутылки водки, банка лярда (искусственный жир) и пачка «Казбека». Лучшего натюрморта я не встречал в мировой живописи — не по технике исполнения, так сказать, а по силе воздействия: на мгновение мне показалось, что я сыт!

А рядом с едой сидел Жора, держа в руках газету, в своей огромной каракулевой шапке, в наглухо застегнутом черном френче, широченных галифе и в белых валенках.

— Ну? Ну? Ну? — уже криком спросил он.

— Похоже. Хорошо, по-моему.

— Я ей здорово заплатил, — он громко, с облегчением вздохнул, выпил водки, занюхал рукавом и воскликнул: — Вот каким я был! На свободу меня выпустят уже после войны. Буду вспоминать, как я жил, буду любоваться вот этим портретом. — Он отпил водку прямо из горлышка, поперхнулся, закашлялся, из глаз его брызнули слезы. — Буду вспоминать, как воровал водку, хлеб, валенки, телогрейки, тушенку, красивых женщин! И все равно... да, меня не переставали презирать. Ни на секунду. Меня обнимали, целовали и — сплевывали... Вот только сейчас меня оценят серьезно — упрячут за решетку.

Вернувшись к себе, я сел перед печкой. Я чувствовал, что во мне что-то сгорало без остатка, но что именно, еще не понимал. И что-то возникало на месте того, сгоревшего...

Больше я не видел ни Бэлы, ни Жоры. Его арестовали на другой день, когда меня не было дома. Все его имущество, кроме портрета, конфисковали.

Портрет некоторое время стоял в коридоре, я любовался нарисованной на нем едой. Потом он исчез. Художница выполнила на нем один из своих заказов.

**Любовная драма  
у нас в бараке  
на Промплощадке  
во время войны**

Он появился у нас в бараке к вечеру, но уже на другой день и до самой своей несуразной, а для него вполне закономерной гибели был на нефтепромысле известной персоной. И забыли о нем скоро, и многие женщины унесли в себе память о нем, верно, навсегда. Не забывали его и некоторые мужчины — с презрительно-завистливым уважением вспоминали долго.

За большим барачным окном зло и давно уже выюжил декабрь, а на парне была промасленная телогрейка с одной пуговицей, рваные ватные штаны, кирзовые стоптанные сапоги и по брови грязная пилотка.

Плотно и старательно, даже как-то благоговейно притянув за собой дверь, парень постоял у порога, щурясь от тепла и света, осмотрелся и стылым голосом выговорил:

— Хорошо у нас...

Тетя Лида, высокая, прямая, для военного времени — очень полная сорокалетняя женщина, совмещающая обязанности уборщицы и воспитательницы, — вернее, она была уборщицей, а по штату числилась воспитательницей, — вышла из своего закутка, огороженного досками, спросила недружелюбно, настороженно и заинтересованно:

— Откудова и зачем сюда пожаловал?

Он взглянул на нее — сразу на всю, потом

ненадолго задержал внимательный взгляд на ее груди, на голых белых ногах, чуть подольше — в глаза ей посмотрел; растянул оттаявшие большие, сильные, немного вывороченные губы в улыбку, наглуую и добрую, подмигнул и отвечивал:

— А я, дорогая моя, оттуда, где мне не понравилось. Убег я оттуда, испарился. Даже запаха моего тамо-ка не осталось. Очень уж я... — он долго смотрел тете Лиде в глаза, — качественный. Вот тебе, милая моя, направление из конторы. И вообще, здравствуйте все. — Он прошел к плите, пригнувшись, будто крадучись к живому существу, присел перед огнем на корточки, протянул к нему багровые руки, блаженно зажмурился и заприкрыхивал.

Пока тетя Лида вертела в руках бумажку, парень снял телогрейку, стянул сапоги, растелил на полу портянки из цветастой материи, видимо, бывшего платья.

— Дело понятное, — чуть ли не испуганно и ласково сказала тетя Лида, — добра от тебя, видать, не жди... — Она помолчала, вся сжавшись, выдвинув вперед большие литые плечи и с надеждой, не сводя с него взгляда, виновато спросила: — Так, что ли? Или по-другому.

А парень повернулся спиной к плите, закричал от удовольствия, будто задохаться начал от жаркого блаженства, ответил не сразу:

— Добра от меня вагон тебе будет, милая, плацкартный. Вот согреюся, все доложу, и всем ты довольная будешь. А пока ты мне, дорогая моя, постельные принадлежности организуй да чтоб два одеяла, не меньше. Я зябкий. Да кусочек мыльца займы предложь.



Был он гладко выбрит, тощая шея — грязно-красная, а поджарое тело — неестественно белое.

Я сразу заметил, как чем-то обеспокоилась тетя Лида, как торопливо вынесла ему полвафельного полотенца и кусочек мыла, как, уже не отрываясь, разглядывала этого парня, хватаясь руками за пылающие щеки. А он нежил-ся перед плитой и под взглядом тети Лиды то садился, то вставал, потом снял штаны и остался в одних кальсонах, обрезанных чуть ниже колен.

— Срамотник, — ласково задыхаясь, сказала тетя Лида, — вон ребята... так никогда.

— Так то ребята, — оттянув резинку кальсон и пуская туда жар от печки, объяснил парень, — ничего они пока в нашем главном деле не кумекают. А я, дорогая моя, мужчина в самом что ни на есть соку... Тазик мне какой-нибудь предложь. Помоюся перед делом. А жить тебе и всем вам со мной будет прекрасно. А уж как ты мной довольная будешь... не бывало еще с тобой так. — Он прикрыл глаза, голову закинул назад, вылез столь великий и острый кадык, что, казалось, вот-вот распорот кожу.

Тетя Лида принесла таз с водой, поставила его на плиту, небрежно отодвинув наши кастрюльки с едой. Двигалась она суетливо, часто поправляла волосы, одергивала кофту, стремительно оглядывалась по сторонам, а мы прятали от нее глаза, чтобы она не заметила нашего настороженного и острого, почти ревнивого любопытства и тревожного удивления.

— Зовут меня Серега, — напевно, хотя и хрипловато, прислушиваясь к самому себе, за-

говорил парень, — по фамилии я Стригалева. Отца, грешника несусветного, Пантелеем звали. Шофер я. Жизнь люблю. Чего и тебе, ласточка моя, желаю. Сегодня мне одеться во что-нибудь дай. Верну.

— Все, все у меня есть! — громогласно сказала тетя Лида. Она уже застелила ему койку, а он и глазом не повел, сидел на полу, царапался, говорил, словно кого успокаивая:

— Мужик я очень хороший. Цену себе знаю, потому и не навязываюсь никогда. Меня везде все любят. Кто — даже и без памяти. Зла никому не делаю. Добрый я. Натура у меня такая. Не сердит меня только, и я с тобой помурлыкаю.

— Не на фронте ты почему? — опять громогласно и страстно спросила тетя Лида.

— Инвалид, — с достоинством и лукаво ответил Серега, — ноги у меня плоские. Зато все остальное — дай бог. Пользы от меня, не считать — скоко. Сама, дорогая моя, все сама узнаешь.

Мы смотрели не на него, а на тетю Лиду. В наших глазах она до появления Сереги была чуть ли не старухой. А тут она помолодела, разрумянилась, как-то прогнулась в спине, расправила вдруг ставшие роскошными плечи, — будто раньше прятала свое большое тело, а сейчас вспомнила про него, и оно ожило каждой мышцей, каждой округлостью.

И мы почувствовали себя здесь как бы лишними, совсем посторонними, будто бы не Серега к нам заявился, а мы пришли в его с тетей Лидой жилье; мы обидно ощутили себя мальчишками, хотя работали по двенадцать часов в сутки без выходных... И работы наши

были не из легких. А тут мы сидели на своих койках, обреченно ждали, что же будет дальше; и заранее чего-то боялись.

— Умывальня у вас за дверьми? — спросил Серега. — Неси, дорогая моя, тазик туда.

Тетя Лида бросилась к плите, схватила таз, отдернула руки, ойкнула, задрала подол — Серега стрельнул одним глазом туда, в белое богатство — подхватила таз и почти бегом — к дверям, толкнула их плечом.

— Понятливая, — с уважением и задумчиво, словно чего-то припоминая, сказал Серега, сосредоточенно почесывая низ живота, — с такой потом трудновато будет... Это когда она ко мне привыкнет, — объяснил он нам, всовывая ноги в сапоги, и направился за ней, помахивая вафельным полотенцем.

Не сразу вернулась тетя Лида, скрылась в своем закутке, хлопнула там дверцей тумбочки, опять убежала в умывальню с бельем в руках.

Настороженность наша пополнилась тревогой. Ведь мы все ждали — каждый свою — любовь. Она мерещилась нам всюду, всегда, во всем. Мир представлялся нам пропитанным любовью, ее было так много и она была настолько жива и прекрасна, что даже вот эта страшная война не могла ее истребить; наоборот, может, именно война обнаружила для нас, что любовь — сила великая, неистребимая и всевластная. И еще нам казалось, что не только каждый из нас ждет любви, а — вообще, пришло ее время для всех назло войне. Нам чувствовалось, что человечество всегда молодо, как сейчас молоды мы. Ни голод, ни холод, ни сознание смертельной опасности,

висящей над миром, над Родиной, над каждым из нас, не могли,—разве что ненадолго,—раздавить, искромсать или хотя бы приглушить неистребимую уверенность в обязательности любовного счастья для всех и для каждого.

Мы и боялись пришествия любви, потому что не мыслили ее будничной, незначительной, а — невероятной; мы и ждали ее...

Так вот, мы ждали и хотели живой любви, которая и есть настоящая, от которой и происходит жизнь. Мы были чисты в помыслах, но в желаниях, оформившихся и резких, мужала греховность, желанная и неотторжимая, самих нас и радующая, и пугающая... Мы уже с искренней усмешкой, если не с презрением, вспоминали свои юношеские влюбленности, не предполагая, конечно, что, как говорится, по истечении срока влюбленности эти сильно возрастут в значении по сравнению с первыми телесными притязаниями...

В тот вечер мы угадали, что теряем нашу тетю Лиду, что она уходит от нас и уже не вернется. Ведь мы, оторванные от дома, привыкли к ней и не представляли, как это мы будем жить без ее прежних забот о нас.

Если в чем и заключалась воспитательная работа тети Лиды, так в том, что она самым строжайшим образом следила, чтобы мы экономно расходовали зарплату и особенно продовольственные карточки. В этом она была сурова и даже груба, но лишь благодаря ей мы научились растягивать продовольственные карточки на целый месяц. И еще тетя Лида с непонятным для нас неистовством добивалась, чтобы мы остерегались девчат, не только не

приглашали их в гости, но чтоб и разговаривали с ними редко и поменьше.

— Кончится война, — внушала нам тетя Лида, — оглядитесь, приглядитесь и по-хорошему, по-человечески выберите, которая по душе. А то сейчас девки дурные. Знают, что после войны им туго придется, вот и торопятся...

Значит, теряли мы тетю Лиду. Уходила она туда, куда нас до сих пор сама не пускала.

Место, где мы жили, именовалось Промплощадкой. Находилась она на окраине города, выстроенного перед войной. Барак наш стоял прямо у дороги.

Город был необычен — какой-то гибрид без плана разбросанных улиц с нефтепромыслом и бумкомбинатом. Буровые вышки и нефтяные насосы-качалки попадались чуть ли не среди жилых зданий.

Барак наш разделялся на три секции, две семейные и одна — общежитие на двенадцать коек. По военным временам мы — выпускники техникума — устроились совсем неплохо. В бараке даже было электричество.

Посередине комнаты громоздилась большая печь с плитой, которую мы топили углем, приворачивая его на железнодорожной станции.

По двенадцать часов мы работали, не считая времени на дорогу, а они, дороги, были в десятки километров, а добирались мы — как повезет. Всегда мы хотели есть и спать, особенно зимой. Вернешься с мороза (а военные зимы были на редкость злыми) в общагу, где от плиты исходит густой жар, который почему-то казался мне мохнатым, и сразу начинают слипаться веки, но заснуть не дает голод...

В тот вечер, когда состоялось наше с Сергеей знакомство, я блаженствовал: у меня была такая высокая температура, что меня освободили от работы. У нас в электроразведке был так называемый ненормированный рабочий день. Это значило, что меня могли вызвать на базу в любое время суток на любой срок да еще без еды. Вот, бывало, лежишь под одеялом, от плиты — африканское тепло, глаза слиплись, в животе — полкотелка овсянки и литр кипятка, а за окном — сквозь любой сон услышу — машина остановилась: мне ехать на буровую. Я одеваюсь у плиты, чтобы забрать в себя как можно больше тепла, вздеваю на себя кроме рубашек, фуфайку, пиджак, телогрейку, полушубок, брезентовый плащ, еле-еле залезаю в кузов. Километров сорок в ледяной ночи на ветру...

И вот я лежал, и никто не имел права вызвать меня на работу! Никто!

А если к этому добавить, что из-за температуры я не очень хотел есть, а весь день проспал, то можете поверить, что мне было как в сказке? Да еще под подушкой — книга «Алые паруса»... Чего еще надо?

...Тетя Лида вернулась из умывальни, прошлась по комнате, как еще никогда не ходила — все тело ее ожило, играло, что ли, веселилось. Никого не видела она, села к столу и умиленно-стыдливо выговорила:

— Моется... — и застенчиво, красиво улыбнулась.

А надо сказать, что в нашей умывальне холодно было как на улице, и тетя Лида затретила много сил, терпения и голоса, чтобы приучить нас умываться каждое утро и после ра-

боты. Серега же там пробыл больше получаса, вернулся сияющим, разгоряченным и как бы одновременно продрогшим; короткие волосы торчали мокрым ежиком. На парне было чистое нижнее белье с завязками вместо пуговиц. Он сел у плиты уже не на пол, а на подставленную тетей Лидой табуретку, негромко попросил:

— Портянки мне постирай скорее. Кипяточку мне плесни. Карточки я ведь только к завтраму получу. А не жрамши я давненько.

И опять засуетилась, заспешила, заспотыкалась почти на каждом шагу тетя Лида, а он все, даже кусочек хлеба и две вареные картофелины принял как должное, без тени удивления или благодарности, громко прихлебывал кипяток, куда тетя Лида бросила несколько кристалликов сахарина, шурил голубые пустые глаза, в которых мгновениями — это когда он задумывался — появлялось что-то ласково-хищное.

— Из каких же ты мест? — тоскливо спросила тетя Лида, будто спрашивала о своей судьбе, и он ответил, аккуратно откусив и тщательно прожевав дольку картофелины:

— Потом, после все узнаешь, моя дорогая. Всем довольна будешь, моя милая. А в местах я во многих бывал. И ни в одном долго побывать не удавалось... Ублажу я тебя, дорогая моя, аж на всю жизнь.

— Больно уж скор ты на посулы-то! — испуганно, видимо поверив в обещание, шепнула тетя Лида.

Он кивнул, сказал:

— А я знаю, что сулю-то.

Роста он был чуть выше среднего, костист и мускулист, сутулился немного, вернее, при-

гибался, как боксер или боец перед атакой. Была у него странная привычка — часто и быстро ощупывать себя бережными, но беспокойными прикосновениями.

...Ребята стали собираться в столовую: котелки на плите принадлежали тем, кто придет с первой вахты. А те, которым во вторую, в ночь, торопились в столовую.

— Столовка во скоко закрывается? — спросил Серега и подробно разузнал у нас, как зовут официанток, что они из себя представляют (мы разведенными руками пытались создать представление о их габаритах) и в поведении чем они отличаются: веселые, гордые или, как он выразился, брыкливые. На эти вопросы мы, человек шесть, еще ответили, но затем Серега стал допытывать: ноги у них какие, шаг широкий или узкий, плечи там какие и прочее... тут мы только могли удивленно переглядываться: в столовку мы ходили есть.

— Да ты на них, официанточек-то наших, больно-то не располагай, — насмешливо и явно ревниво сказала тетя Лида. — Вашего брата у них сколь угодно. Да они себе лишнего-то с вами-то не позволяют. У их такие ухажеры есть...

— А мне лишнего и не надо, — объясняюще ответил Серега. — Зачем мне какое-то лишнее? Мне только самую меру. Правда, мера у меня сильна. Ну, а ухажеры... тут я самый главный.

— И врать ты горазд... — упавшим голосом выдохнула тетя Лида.

— Нет, моя ненаглядная, — сказал Серега. — Все, узнаешь, моя ласковая, и меру мою узнаешь, и все такое, и всем довольная будешь.



Сквозь тревогу и недобрые предчувствия я еще ухитрялся наслаждаться покоем, возможностью лежать в тепле, зная, что и утром — лежи, сколько угодно... Но в желании счастья человек не ведает пределов, и я уже мечтал о том, как меня придет навестить Любка-шоферка.

Кстати, подошло время рассказать о нашей замечательной Любке... Все мы пережили любовь к ней, никому она не ответила взаимностью, но никого и не обидела хотя бы словом. Умела она будто бы не замечать и будто бы не понимать, отчего это на нее глазают, и не видеть в наших взглядах того, как мы мечтаем о ней...

Когда-то она работала в столовке хлебо-резкой — лучше места и должности не придумаешь. От каждой порции крошка, и то сыта будешь, и кроме всего прочего можешь золотое кольцо на пальце занять, а чуть погода и золотые часики, и сережки тоже не медные. У Любки, правда, ничего этого не было, жила она как-то странно — очень уж скромно для такой должности. Говорили, мать ее сбежала еще до войны с каким-то грузином, потом грузин ее бросил, и она лишила себя жизни.

Любка жила в маленьком домике с отцом, который больше так и не женился и все перед Любкой оправдывал ее мать. Погиб он на фронте в третий месяц войны. Любка пустила в свой домик эвакуированных. Ее, конечно, и не спрашивали — в том смысле, пустит или нет, но вот перед кем двери открыть, Любка выбирала сама. И тут она удивила всех, приводя в домик к себе троих женщин и пятерых малолеток. Промучилась она с ними целый

год и ушла в общежитие. В огород те женщины-матери Любке не позволяли даже и заглядывать...

Но как это в жизни бывает, все потери и несправедливости вывели Любку на счастливую тропинку, о которой она только смутно подозревала. Любка и раньше говорила, что очень любит кататься в автомашине, но однажды кто-то из шоферов не просто ее прокатил, а дал ей руль подержать, скорости попереключать, посигналить и немного проехаться почти самостоятельно.

Мало времени и прошло, а Любка уже водила грузовик, а потом — все только ахнули — стала шофером. Это из столовки-то! Из теплото да от еды!

Значит, жила в Любке ей одна предназначенная страсть, которая не сразу обнаружилась, но когда открылась, Любка отдалась ей вся.

И села наша красавица за баранку в кабину самой задрипанной полуторки, от которой отказались все шоферы, и в жару, и в стужу, в пыль и слякоть затряслась Любка по бездорожью, копалась в полудохлом моторе, часами валялась под своей машиной.

И — счастливая была.

А шел ей тогда девятнадцатый год. Когда она летом вдруг появлялась не в замасленном комбинезоне, а в обыкновенном платье и белых прорезиненных тапочках, казалось, что война кончилась...

Размышления мои, смутные и жаркие, вспугнули громкие голоса — ребята ушли в столовку. Я отвернулся к стене, закрыл глаза, уверенный, что сейчас в моем сознании возникнет жи-

вая Любка, но вдруг задремал, вдруг тут же проснулся и услышал голос тети Лиды, восторженный, но одновременно и жалкий, и обиженный, и опять же — счастливый:

— Полоумный, стара я для тебя... да не сходи с ума-то... ишь, какой умный... да ученый... бессовестный... не получишь... не на такую наварался::: нельзя со мной так... я серьезная... пошли отсюда... пожалеешь, псих... пожалеешь, говорю... пожалеешь...

В голосе ее возникло столько ласки и благодарности, восторга и тревоги, счастья и недоверия, бессильного возмущения и радостного согласия, что этот впервые в жизни услышанный мною любовный лепет не взбудоражил меня, а поверг в мечтательность. Я и смысла слов сразу не понял, зачарованный самим женским голосом, необыкновенным для моего слуха. А когда я машинально, без усилий разгадал смысл услышанного, во мне больно зашевелился стыд, и почудился голос, как бы обращенный ко мне... И чем явственней осознавал я омерзительность своего желания, тем с большим смятением и бессильной злостью жаждал хотя бы услышать, что происходит там, за дощатой перегородкой. Скоро я утомился и от самого желания и от борьбы с ним...

Из-за перегородки вышел Сергей, одетый в темно-фиолетовую хлопчато-бумажную куртку и такие же зеленые брюки, будничный какой-то, очень этим меня разочаровавший. За ним вышла просветленная, тихая тетя Лида, не вышла даже, а выступила. Вся она была словно похудевшая, и спела почти:

— Теперь уж не позорь меня...

— Не позорить я тебя буду, дорогая моя, а

сердце твое хорошее веселить буду, — сказал Серега.

— Да откуда ты, шалый, про сердце-то мое знаешь?

— Дак ведь не дурак я, милая моя. Все понимаю. У баб сердце даже с пяткой связано, не то что с чем другим. Ты у меня главной опорой будешь. Базой. А я в долгу не остануся. Такие я тебе, родная моя, удовольствия сделаю...

— Ой, не надо, Сережа... не говори так-то... И при ребятах не показывай... И не верится мне... И человек ведь я... Ты про меня-то плохо не думай...:

— В общем, дело так, — хозяйским тоном сказал Серега, громко прихлебывая кипяток. — Ежели я тебе по душе, то живем душа в душу. Не обижу. Но и не муж я тебе — тоже ясно. Не муж, а куда уж лучше... Сапоги мне оботри, дорогая моя.

Я до того напряженно вслушивался в разговор, не только в слова, но и во все оттенки голосов, что мне казалось, будто разговор длится вечность.

— Ночую я дома, — рассказывал Серега, — в куреве и спиртном не нуждаюсь. Брезгую. И силы они отнимают. Карточки отдам тебе, зарплату прямую — тоже. Че как не подойдет, сразу сообщай, в себе не таи, сразу мне — только тихим способом, без криков и визгов. Мы с тобой люди любовные. Все любовно всегда и порешим.

— Ладно, ладно, ладно, — весело старалась говорить тетя Лида, — только чтоб ребята не знали.

— На ребят мне наплевать. Не дураки, так сами поймут. Эту телогрейку я натяну?

— И шапку бери. Болеет он.

Закрылась дверь. Не хлопнула, не стукнула, а бесшумно закрылась. Тетя Лида стояла посередине комнаты, смотря в темное окно и переплетая свою огромную рыжую, чуть тронутую сединой косу...

А я почему-то опять вспомнил Любку. Мы с ней дружили, она жаловалась мне, что парни и мужики ей прохода не дают, рассказывала о своей прежней жизни — при отце. Я носил ей книги, сопровождал в кино и на танцы. Со временем она до того ко мне привыкла, что, бывало, попросит почесать под лопаткой или в клубе устало прикинется ко мне, а у меня даже в висках заломит.

Натурой она была незаурядной, иначе бы ей не доверили водить здоровенный «студебеккер» да еще новый: тут уж доверяли не квалификации, а характеру. В день, когда Любка впервые отработала на своем великане смену, она купила на толкучем рынке несколько пакетов сахара и напоила сладким кипятком всех в общежитии.

Встречаться нам удавалось редко, но каждая встреча была отлична от другой, волнующа и просто интересна. Любка часто просила меня читать стихи, слушала, задумчиво склонив голову набок, полуоткрыв рот, мизинцем проводя по черным волосикам над верхней губой... Ожидая в жизни чего-то необыкновенного, Любка не замечала ни голода, ни холода — рвалась к своей машине, ладонями гладила капот...

— После войны, — мечтательно говорила она, — пойду учиться. У меня ведь всего шесть классов, да и то с обрывом.

— Замуж выйдешь, — добавлял я в тайной, маленькой надежде, что вдруг она возразит мне!

— Конечно, — соглашалась Любка, впрочем, как-то очень уж равнодушно. — Никуда от этого не денешься. А что? — Она уже улыбалась. — На одной машине с мужем работать будем... Только боюсь я, — неожиданно добавляла она. — Боюсь.

— Чего?

— Не знаю. У нас в бараке почти все девчата... не девчата. Такое рассказывают!.. Противно... Без всякой там любви, просто так... Мне они нарочно рассказывают, нарочно хвастаются...

Я весь пылал, во рту пересохло. Я попросил: — Теть Лид, мне бы попить...

Она взглянула на меня отчужденно и снова отвернулась к окну, лишь потом, спохватившись, улыбнулась застенчиво, принесла кружку, сказала:

— Скоро ребята придут... Спал?.. — она присела на край койки у меня в ногах. — Радуетесь, что заболел? — еще спросила она, думая, конечно, о другом. — Придут, придут скоро ребята... Спал ты?

— Нет.

Она скорбно покачала головой, помолчала и заговорила, прикрыв лицо руками:

— Не рассказывай никому. Прямо я не знаю, как все сделалось. Дьявол он какой-то ласковый... магнит... манит только, а ты сама... — оправдывала она себя, а больше — его. — Ему-то что, а мне... — тень тревоги за-

стыла на ее лице, когда она убрала руки, но тут же растаяла тень. — Будь что будет. Поживем — увидим.

Она ушла помешать в печке, но, открыв дверцу, замерла с железным крюком в руках.

— Черт с ним, — неуверенно выговорила она, — единова живем.... Об чем беспокоиться-то мне? Может, он у меня последний.. А может, и того хуже — первый... — Она пошуровала в печке, положила крюк на пол, стала медленно подкладывать куски угля, напевая какую-то тоскливую песню, оборвала ее. — Поживем да и... порем! Никому не рассказывай, — через плечо бросила она. — Не вашего ума дело.

Пришли ребята, принесли мне поесть. Я мог бы блаженствовать: есть, да еще лежать.. Да еще не меньше двух дней вот так валяться, не ходить на работу! Не мерзнуть в кузове по десять — сорок километров... Но я не очень блаженствовал. Ничего у меня не болело, просто пылала голова, и было в ней что-то тяжелое, оно перемещалось и резало. Думал я о тете Лиде, и ее смятение как бы жило во мне.

Ребята ушли на работу, первая вахта еще не вернулась, и тетя Лида под села ко мне и стала рассказывать:

— Нас у матери шестеро девок накопилось. Я старшая. Уж как мы жили-тужили, ноги таскали, лучше и не вспоминать. Мать больная, отец на работах надорванный — шутка, такую ораву кормить. Я нянькой при всех... Сестры одна за другой в замуж, а мне и на вечеринку сбежать некогда, да и не в чем. Мать с отцом в один месяц померли. Остались мы с Леной. А у нее жених. И уехала я, и сказала, что живите

на здоровье. Дом еще добрый, а я вам только мешать буду. Ну, не мне рассказывать, не тебе знать, а семьи у меня не получилось. — Тетя Лида ушла к плите, опять села перед раскрытой топкой. Лицо раскраснелось, и она изредка прижимала к нему ладони, молчала она, но, если можно так выразиться, промко молчала.

И тут я понял, что она, оказывается, красивая. Впечатление это было настолько неожиданным, но определенным, что я присел на койке, чтобы видеть тетю Лиду всю.

Обнаружение мною ее красоты поражало не столько неожиданностью, сколько, если хотите, какой-то закономерностью, естественностью, словно я был подготовлен к такой разительной перемене в ее облике. А может, а скорее всего, это было не превращение, не перемена, а проявление черт, донные дремавших, не было у них раньше повода выявиться. Ведь многие перемены в людях, часто самые невероятные, на поверку оказываются не переменами, а именно выявлением до сих пор дремавших, спрятавшихся особенностей.

Вот и наша тетя Лида не оказалась, а на самом деле была красивой. Даже я, ничего тогда в этом не понимающий, вытаращил глаза и до того жадно, радостно, удивленно и подробно разглядывал ее, так много увидел, что застыдился.

Красота ее была чуть скорбной, с ясно проступившим оттенком обреченности, но все равно — красота. Боюсь быть заподозренным в сентиментальности и безвкусице, но видел я, однажды березу на высоком, подмытом весенним разливом берегу. На самом его краю стояла она, в ожидании неумолимого падения вниз,



в грязную, беснующуюся пучину. И будто собрав остатки сил, все свое жизнелюбие, выпрямилась береза, приподняла голые, сухие ветки, ждала гибели своей, но еще радовалась весне... О ней я сейчас вспомнил.

— Тут у нас до вас инженер жил, — говорила тетя Лида и совсем по-девичьи перебирала огромную рыжую, чуть тронутую сединой косу. — Все я хотела, чтоб он женился на мне. Хороший он был человек. Тут тебе пьянка, а то и драка, а он лежит себе на коечке вон в том углу и книжку почитывает. Умный он был. Но вот не знал, понятия не имел, для чего мы, бабы, придуманы. И ни одну из нас счастливой не сделал... Присмотрела я как-то, что бумажки он часто перебирает, когда в бараке никого нет. Невеста была у него, у горемыки. У немцев в оккупации она осталась... Это она ему еще в школе писульки-то писала... Сонька Окунева из продуктового так прямо с ума сходила. Напьется, дура, правда, красивая, прибежит сюда, обнимет его, плачет, целует. И — чего бы ему надо еще?.. А он писульки перебирал... а живая баба ему ни к чему была... — Тетя Лида встала, выгнулась, потянувшись, раскинув руки, замерла так, но вот — руки ослабли, упали. Она низко опустила голову. — Думала, а мне ведь такой любви, как той, в оккупации которая, не выпадет... А ведь бывает, такая, бывает... А мне жить охота было — ох! Ну, пусть война... И она пройдет. А вот если жизнь пройдет... — Тетя Лида подошла к моей койке, села у меня в ногах, долго молчала. — Не знала я бабьего счастья. Могу и не узнать. Так, понимаешь, и помру. Инженер тот, который тут до вас жил... спрашивала я его, как жить-то

надо... Ничего он в этом не понимал... То есть, для себя-то он понимал, а другим даже посоветовать не мог. Бумажки, говорю, от своей невесты возьмет и перебирает. А ее, может, давным-давно и на свете-то нет. А я тут... Ночью-то горячая, ровно уютно, раскалюсь вся, вот-вот дым повалит... И думаю... Неужели?! Неужели проживу без... этого? А тянуло меня к нему... Ночами без сна всякого в кровати кручуся. Не сама ведь такие муки придумала... Таковую вот на свет произвели и — бросили. Сама, дескать, судьбу устраивай. А что к чему, не растолковали. Тот-то инженер уехал, а я с сердцем-то своим и осталась. Оно у меня доброе, вот и обманывали его не единова. Злая я стала, высушила сердце-то злобой, а — толку? Крути не крути, а жить охота. И буду жить. Мать покойная говорила: вот на ноги вас поставлю и спокойно-де помру. Значит, стать на ноги да и стоять до смерти? Не-е... каждый пожить должен, а ино и родиться не надо...

Впервые я видел живую страсть, раскрывшуюся у меня на глазах. Она поразила меня сочетанием преховного и возвышенного, откровенного и стыдливого, вызывающего и застенчивого. Страсть еще не определилась, не обрела законченного облика, она как бы еще в себе самой искала свои основные черты.

Мое существо не только соприкоснулось с чужой страстью, а и приготовилось понимать ее, сочувствовать и — сопереживать. И сколько раз потом в жизни я убеждался, что способность сопереживать едва ли не выше и богаче способности переживать: во всяком случае, это помогает понимать людей тогда, когда понять их очень трудно, почти невозможно, а — надо.

Половина, если не больше, житейских несуразностей превращается в беды только из-за неспособности, выросшей из нежелания, людей понимать друг друга или хотя бы попытаться понять.

Обо всем этом я тогда, конечно, не знал. Мне было просто очень жаль нашу тетю Лиду. Я предчувствовал, что к ней пришла беда, внешне похожая на счастье, или счастье, которое все равно — беда. Мне даже казалось, что я в чем-то ей сопричастен, будто от меня что-то зависит.

...Однажды у нас в электроразведке не оказалось грузовика, и на мое счастье прикатила Любка в своей грозившей вот-вот развалиться полуторке. Она выскочила из кабины, стройная, сильная, вся обтянутая полукомбинезоном и красной майкой, веселая, звонкоголосая, возбужденная, верно, своей неутоленной женственностью, молодой и терпкой... Мы оторопели, побросали работу, а тетя Нюра, опромная, около центнера, лебедчица, пробасила на весь нефтепромысел:

— Ух, стервоза! Будь я мужиком, я бы из-за такой подохла или... ух, девка! Вся под орех, так и просится на грех!

Молодость хороша ведь тем, что ее не только не вернуть, но и не продлить. Но вот что бы я хотел еще раз пережить из молодости, так это всего несколько мгновений. Они — Любкины. Я даже и не попытаюсь их передать, я просто расскажу о них самыми обычными словами... Полуторка так скакала по дороге, ее так бросало из стороны в сторону, вверх и вниз, что в кузове трудно было устоять на ногах. Лебедка, на барабан которой было намо-

тано около двух километров трехжильного кабеля, могла сорваться с болтов, убить меня или покалечить и — ура! — Любка бы плакала и обнимала меня, но было бы уже поздно, и как бы она жалела об этом! От одной этой картины я чуть не заорал в восторге. Я тогда не знал, что Любка никогда не полюбит меня, но я знал, почему полуторка подпрыгивала! Я знал, почему ее бросало из стороны в сторону! Потому что недавно мы с Любкой посмотрели друг другу в глаза, и оба покраснели!

А приехав на буровую, мы старались не встречаться взглядами, мне было стыдно, и стыд был радостен, какой-то очень стыдный, и в то же время совсем не стыдный стыд... Когда я ломом быстрехонько столкнул лебедку из кузова на помост, тетя Нюра определила:

— Кровя в парне играют.

Работать было весело. У меня болела шея — до того я часто и резко оглядывался по сторонам, ища глазами Любку. Ее нигде не было. Но я чувствовал, все мое существо верило, что она где-то здесь, прячется от меня, боится, стыдится и это — замечательно... Но внезапно привычная работа опротивела мне, или я просто устал от слишком необычного, острого и долгого наслаждения... Вялый, какой-то опустошенный, я старался разгадать, что же происходит со мной... Появилась Любка, рассерженная, с плотно сжатыми губами, с недобрым взглядом, который она всего один раз бросила в мою сторону, но я успел поймать его. Любка словно состарилась или, вернее, подурнела, и красивое тело ее как бы спряталось в одежды...

Обратно полуторка не мчалась, а катилась, тщательно объезжая рытвины, не вздрагивала

даже на ухабах. Неизвестно откуда взявшаяся горечь разъедала мне сердце. Я думал о Любке чуть ли не с неприязнью, хотя не мог, конечно, понять, себя и ее. Я запутался в догадках, растерялся... словно испугавшись внезапно проявившегося влечения друг к другу, мы оба забоялись его... Мне даже страшно стало, когда я подумал, что судьба моя сейчас вот зависит от Любки, все будет так, как она захочет. Сам я, конечно, не осмелюсь, но если она лишь взглянет...

Пока мы разгружали полуторку, Любка не выходила из кабины. Я работал как можно медленнее, я не представлял, что со мной будет, если Любка уедет, не сказав мне ни слова, не представлял, что со мной будет, если услышу обращенный ко мне ее голос...

Уже все ушли с базы, кроме старика сторожа, который сразу устроился дремать на лавочке при входе.

Открылась дверца кабины, послышался Любкин шепот:

— Иди... подвезу...

Нет, я не поехал с ней. Я был горд и глуп. А много лет спустя завидовал самому себе, тому, который стоял в кузове мчащейся полуторки и как никогда больше в жизни был уверен, что его любят...

Пришли ребята, расселись вокруг плиты, заставили ее котелками, кастрюльками, в центре — огромный чайник.

— Что с вами, тетя Лид?

— А... ничего...:

И вопрос, и ответ прозвучали удивленно.

Значит, и ребята что-то сразу заметили. А

она, тихая, вся в себе, уже несколько раз машинально и сосредоточенно вытирала стол.

— Теть Лид, чего это с вами?

— Вот пристали! — постаралась сказать она раздраженно, а получилось равнодушно. — Да ничего... С чего и взяли? — И она ушла за перегородку, ушла торопливо, виновато пряча глаза, и необычно — осторожно и плотно — прикрыла за собой дверь.

Нет, такого у нас еще не бывало! Тетя Лида никого не гнала в умывальню, не проверяла, кто сколько крупы собирается бросить в котелок, не бранилась за кинутые на постели телогрейки...

Как мне хотелось рассказать ребятам о том, что я узнал сегодня! И я бы, конечно, рассказал, если бы мог хотя приблизительно восстановить пережитое и передуманное мною совсем недавно. Меня останавливала не только боязнь сфальшивить, но и осознание себя, как ни странно, соучастником, что ли...

Вскоре, проглотив принесенный мне ужин (от переживаний я проголодался), я устал вдруг, отвернулся к стене, закрыл глаза и — будто против своей воли — как бы лишь краем сознания пытался представить, что же сейчас творится в душе тети Лиды? Я потому и не хотел полностью отдаваться этим мыслям, что они отпугивали меня чем-то неуловимо тревожным...

В этой тревоге я был не один. У меня ясно обозначилось ощущение, что каждая моя мысль мгновенно кем-то подхватывается. Лишь спустя некоторое время я догадался, что привык думать и переживать с ребятами одинаково. И пусть они не знали, что же именно недавно

произошло здесь, у нас в бараке, ощущения наши совпадали. Мы как бы давно были готовы к таким вот переживаниям...

Ведь любовь мерещилась нам на каждом шагу. Она была настолько сильна и чиста, что мы — каждый из нас — могли полюбить первую встречную. В помыслах, разогреваемых желаниями, мы жаждали не выдуманной любви, а подлинной, хотя и не знали, какая она, знали только — от нее зависит очень многое.

Ах, как нам была нужна любовь!

Мы так могли полюбить, как потом уже — не сумели.

Мы просто поражались, что проходящие мимо существа женского пола не подозревают, какое обилие любви к ним таится в нас!

Была война, а мы все-таки ощущали, что всему человечеству приходит время любви к женщине, невероятной, невиданной всеобщей любви, которую несем мы... Вот как мы тогда думали!

А Любка все-таки пришла проводить меня. Она заявила под вечер — алые щеки, ресницы и волосики над губой в инее. Одета она была в короткую телогрейку и тонкие ватные штаны, короткие — до икр — валенки, в красноармейском, неизвестно где раздобытом шлеме, с порога крикнула:

— Здесь симулянты проживают?

Из своего закутка в комнату шагнула тетя Лида и как обухом по голове:

— Стучаться надо девке в мужское общежитие!

— Да я в окошко заглянула, — невозмутимо объяснила Любка, подмигнув ребятам, — смотрю, все в приличном виде.

— Потому только и пушу, — не унималась тетя Лида, — что к больному. — А так — не шлйся здесь.

— Проходи, красавица, гостьей будешь, — сказал Серега. — Кипяточку не желаешь?

Любка даже не взглянула в его сторону, села на табуретку возле моей койки, сняла шлем, из-под которого сразу вывалилась масса буйных черных волос — она не признавала никаких причесок.

— Хорошо поболел? — с заметной завистью спросила Любка. — Мне как сказали, я сразу подумала: вот повезло.

Серега внимательно разглядывал ее, полукрив рот, закинув голову назад, отчего его великий кадык опять грозил вспороть кожу.

Видимо, взгляд Сереги обладал какой-то беспокоящей силой, потому что Любка несколько раз повела плечами, как бы освобождаясь от этого взгляда.

— Завтра я, пожалуй, слягу, — громко сказал Серега и сам один посмеялся над своей шуткой. — Если ко всем больным такие красавицы здесь приходят, коклюш завтра же подхвачу.

Тетя Лида стояла у плиты, скрестив на груди руки, исподлобья глядя на Серегу. Он один не замечал неловкости создавшегося положения, потому что не смотрел в сторону тети Лиды, и она не выдержала, встала между ним и Любкой, сказала раздельно:

— Кипяточку бы лучше похлебал.

— Не обращай на них внимания, — шепнула мне Любка. — Когда на работу?.. Тогда чего лежишь? В кино пошли! — И она рассмеялась — впервые — неестественно, слишком



громко, смутилась, куснула губу. — Чего у вас тут стряслось?

Действительно, чего-то у нас тут случилось. Тетя Лида стала злой. Ребята сидели притихшие, только пялили на Любку глаза по привычке.

— Я пойду, — сказала Любка, долго прятала волосы под шлем, встала. — В субботу, если получится, заходи за мной на танцы.

— А ты лучше к нам, красавица, приходи, — вслед посоветовал Серега, — у нас тут мужчины имеются.

Когда Любка ушла, тетя Лида, видимо не сумев перебороть себя, заговорила:

— Не к тебе ведь она приходила. Нужен ты ей как петуху тросточка. А языком размахался.

— И какое твое дело, дорогая моя? Придет время, и эта ко мне придет. Только я-то зря валяться не буду. Привстану.

Ребята дружно хмыкнули, кто-то негромко произнес:

— Чихала она...

Тетя Лида торжествующе усмехнулась, а Серега, встав и по привычке машинально ощупав себя быстрыми, но осторожными прикосновениями, сказал спокойно:

— Ни ты, милая, ни они тем боле кой-чего не петрите. Тут просто подумать надо, угадать, с какого боку к ней подрулить. Как ей себя показать. Товар лицом, значит. Все они, конечно, одного хотят. Это ясно. Наукой доказано. Но хотят — по-разному. Сначала. А потом — одинаково. Самое интересное — начало. Вкусно это.

— Ну чего рты разинули? — напустилась на ребят тетя Лида. — Он вам... намахает языком-то...

Сергея уже спал — так он всегда делал перед вечерним выходом, часа полтора крепчайшего сна, которому ничто не могло помешать. Можно было даже песни горланить.

— Я сам все делаю, — объяснял Сергей, — засыпаю сам, сплю сам, прсыпаюсь, когда мне надо.

Любку я не видел недели две. В общежитии у нас снова воцарился порядок, спокойствие. Тетя Лида опять расцвела, обихаживала Сергея уже открыто, да и мы начали к этому привыкать.

Никто никогда не знает, с какой стороны приползет беда. Вот стою я около диспетчерской будки на развилке двух дорог, километрах в восьми от левого берега Камы (нефтепромысел был на правом) и жду Любку. Она на своем «студебеккере» проехала на буровую и на обратном пути должна забрать меня.

Морозец градусов этак за сорок, и если мне придется топать пешком через Каму — там ветер и все сорок пять градусов — даже подумать об этом боюсь... Нет, я залезу в теплую кабину, буду разговаривать с Любкой, любоваться ею, а потом сразу из кабины — в столовку! Еще успею... Я не ел и не спал больше суток и, чтобы не уснуть у раскаленной печки, выхожу из будки.

И когда я уже был готов бежать обратно в тепло, на просеке показались фары «студебеккера». Большие сильные лучи то утыкались в снег, будто искали чего-то, то прыгали влево-вправо — шарили по стенам леса вдоль дороги, то вонзались в небо.

«Студебеккер» промчался мимо.

Сначала я ничего не понял. Отблески лучей

растаяли в темноте, а я все стоял, не двигаясь, тупо думая о том, как же я сегодня опять останусь без еды, без курева... а вдруг меня, обесилевшего, собьет ветром на Каме?.. Я вернулся в будку, еле-еле насобирал по карманам табачных крошек на закрутку, задымил.

Почему Любка забыла обо мне? Должно быть, случилось что-то уж такое, чего она не ожидала... Можно мне было и разозлиться, я даже пробовал расшевелить в себе злость, но ничего из этого не получилось... Заспанная диспетчерша ничего, конечно, толком не знала, о том, будут или нет сегодня машины с того берега... Что же случилось?.. Я выпил кружку кипятка, уснул, сидя на топчане, уснул сладко и услышал во сне Любкин голос:

— Проснись, поехали... Ну проснись...:

Мне так не хотелось просыпаться! Смущало лишь то, что я не видел сон, а лишь слышал.

— Да проснись ты!

Это Любка будила меня.

— Ты откуда? — спросил я, еще ничего не соображая.

— Уже Каму переехала, — ответила Любка, — и только тут вспомнила, что тебя не подобрала. Поехали. Психовал тут? А?

Мы влезли в кабину, Любка протянула мне три папиросины. Я мигом очнулся.

— И спичек дам, — виновато сказала она. — Мне все это добро главный инженер еще днем преподнес. Знаешь, усатый такой? Губы у него еще всегда мокрые. Хотите, говорит, мы вас на лепковую переведем при конторе бурения? Нет, говорю, не желаю. А он говорит, что можно и не спрашивать, а просто приказом перевести...

Рассказывала она торопливо, многословно, повторяясь, будто лишь для того, чтобы я не спрашивал. Я и помалкивал, затягиваясь ароматным дымом так глубоко, что кружилась голова. Папиросы были самодельные, набитые очень душистым и крепким табаком.

— А ты почему ни за кем не ухаживаешь?— вдруг спросила Любка. — Вон девчат везде сколько. И хорошие есть. И ты парень симпатичный.

— Если я парень симпатичный, — с обидой и с наконец-то вдруг появившейся злостью сказал я, — то почему тебе не нравлюсь?

— Нет, ты мне нравишься, — задумчиво возразила Любка и улыбнулась краешками губ. — Но ты мне — не судьба. И я тебе не судьба.

— Это как?

— Не знаю. Но точно. Нет, ты мне нравишься, в общем. Танцевать умеешь, водишь очень хорошо, особенно когда вальс. Книжек много читаешь. Не похабничаешь... — Любка перечисляла мои немногочисленные достоинства с таким неестественным уважением, что мне стало ясно: сейчас даже они потеряли для нее всякое значение. — Да и никому теперь верить нельзя, — неожиданно закончила она.

— Уж так и никому?

Она несколько раз кивнула, обиженно выпятив губы.

— А почему ты все-таки мимо меня проскочила?

— Задумалась... задумалась о чем-то я... — Любка не умела врать, и я не видел, но чувствовал, как лицо ее жарко побарбровело. — Ты бы все равно не вышел за меня. Я знаю.

— О чем ты задумалась?

— Да не помню.

Мне много приходилось ездить по самым невозможным дорогам на разных машинах, и могу заверить, что Любка была редким шофером. Огромный «студебеккер», которому суждено было сыграть в ее любовной истории не последнюю роль, Любка вела, казалось, без всяких усилий, за рулем сидела с той целью естественной небрежности, какая отличает прирожденного шофера от старательного ученика. Машина, что называется, слушалась ее, а Любка уверяла, что и она иногда слушается машины, когда та ее о чем-нибудь попросит... Почему же она проскочила мимо меня? Дело не в моей персоне. О чем задумалась Любка?

Или — о ком?

Именно в эту поездку я как-то мимолетно, чуть ли не в одно мгновение понял смысл моего отношения к Любке, даже некоторые его оттенки. Она была мне дорога, как бы ни складывалась жизнь. Может, она и стала бы моей судьбой, но чувство пришло к нам одновременно, чувство открытое, властное, мы побоялись довериться ему, начали проверять его, даже бороться с ним, и оно расстаяло, а если и возрождалось, то ненадолго и робко, причем вспышки его у меня и у Любки уже не совпадали. И мне до сих пор иногда жаль, что мы потеряли друг друга. Живет все-таки в нас такое практическое отношение к женщине, неосознанное, правда, но действующее безотказно: раз любви не получилось, о чем тогда и речь может быть...

— Вот мать моя на себя руки из-за любви наложила, — вдруг вспомнила Любка. — Но

ведь какая там могла любовь быть? Он же бросил ее быстро... А вот отец ее любил. А она от него сбежала... Ничего ведь не понять.

Мы опять долго не виделись с ней, и я тосковал. В душе возникали какие-то смутные предчувствия, недобрые и тревожные.

Между тетей Лидой и Серегой установились ровные, как бы приглушенные отношения, но, то, что меня поразило в ней вечером, когда у нас впервые появился Серега, исчезло почти без следа. Передо мной была все чаще и чаще некрасивая, пожилая женщина, угодливая и безропотная, которая уже не улыбалась, а старалась улыбаться, которая о нас уже не заботилась, как раньше, а старалась заботиться...

Серега каждый вечер — каждый! — куда-то исчезал, и мы о его любовных похождениях знали только по слухам, которых по нефтепромыслу ходило предостаточно.

Серега приделся, по военным временам стал прямо-таки франтом, завел большой фанерный чемодан с висячим замком, где накопил много одежды. И продуктов он приносил немало. Теперь он с тетей Лидой ел в ее закутке.

Странно: временами она все-таки преображалась, и опять молодела, и опять светилась вся... Видимо, большие страсти не так уж часто посещают жизнь вблизи нас? Или простой смертный способен пережить лишь мгновения большого чувства?

Ничего я не понимал...

Обычно Любка никогда одна не приходила на танцы, она договаривалась со мной или с подругой. А тут я увидел ее в клубе в окружении незнакомых парней. Она неестественно

и слишком громко смеялась, но, увидев меня, оставила компанию.

Я не узнавал ее. Что именно изменилось в ней, я сразу, конечно, определить не мог. Но что-то сразу бросалось в глаза. Она смотрела на меня и — не видела меня, слушала, отвечала, но ничего не слышала, отвечала невпопад; настороженно и в то же время радостно оглядывалась по сторонам; вся напряженная, то ли готовая к кому-то рвануться, то ли, наоборот, ожидая, что к ней кто-то бросится... Если смотреть в ее темно-карие, продолговатые, чуть раскосые глаза, можно было поразиться мгновенной смене самых разнообразных настроений — от страха до восторга, от глубокой задумчивости до блаженной пустоты... А меня вдруг пронзила острая и холодная жалость. И еще я почему-то с облегчением подумал, что теперь-то моя влюбленность в нее совсем прошла. Да еще у меня промелькнуло предчувствие, что мы с Любкой вместе, вот так рядом в клубе — в последний раз...

Любка в явном нетерпении оглядывалась по сторонам, и я не мог поймать ее взгляд. Она вся была чужая.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ничего, — ответила она рассеянно, не глядя на меня. — Нервничаю.

— А что?

— Да так, ничего. Надоело мне. Пришла сегодня домик свой навестить, а там вместо этих матерей с детишками обормот какой-то живет. А тех по баракам растолкали. И где мои вещи...'

— В милицию надо обратиться.

— Наплевать.

Ее пригласил парнишка с лесопилки. Она ушла с ним. Он был ниже Любки ростом, но держался фон бароном: и даже такие на танцах были в цене. Я постоял немного, прожигаемый умоляющими взглядами девчат, которые толпились по всем углам и рядами стояли вдоль стен, и отправился домой. С полдороги я припустил бегом — мороз к вечеру остервенел.

Сереха с первого появления у нас был нагловатым, и к этой черте его характера все как-то притерпелись. На нефтепромысле он сейчас был очень известной персоной и знал, конечно, об этом, и наглость его постепенно переросла в наглость. Мужчины как-то презрительно уважали его, многим было даже лестно состоять с ним в знакомстве, но вот все чаще и чаще до меня стали доходить слухи, что в разных местах Сереха натыкался на скандалы. Однажды его пытались избить самым серьезным образом.

Ко всему этому он относился спокойно, хотя и не равнодушно, заранее зная все, что его может ожидать, не обижался, встречая неприязнь, не пугался, когда слышал угрозы.

Со мной он был откровеннее, чем с другими, и почти каждый день хриплым голосом признавался:

— Только бы на эту самую любовь не нарваться... от нее добра не жди... только бы ноги унести...

В эту ночь, когда он заявил тете Лиде, что не потерпит клопов и переберется в другое общежитие, мы долго сидели с ним у плиты. Он не курил, но какая-то очередная симпатия одарила его помимо прочего и пачкой табака, и,



привыкший брать все, он оказался с куревом и немного отсыпал мне. Для него это было великодушным жестом.

Я совершенно не понимал, отчего он не женится, хотя бы так, как женились иногда в те времена: просто поесть и выпить на своей собственной свадьбе, прожить там сколько стерпится, и при надобности — уйти. Я знал, например, несколько женщин, которые приняли бы Серегу и содержали бы его как принца, они просили передать ему такое предложение, и я передавал, а он говорил:

— Не петришь ты ниче... и они тоже.

И в ту ночь я спросил, почему бы ему не жениться.

— Не по мне так, — задумчиво, с достоинством ответил он. — Будешь ровно кобель на веревке. А тут главное — свобода. Я единова с голодухи остался жить у официантки одной. Выхода просто другого не было. Тошнота получилась. Она только об том и соображает, чтоб меня удержать. Ну никакой разницы: что она, что милиционер. И вижу: не пельмени она мне стряпает, а чтоб я тут вот сидел. С ней. И спать ложусь, как на вахту иду... А сейчас прихожу, здравствуй, дорогая, говорю. Чего это, милая ты моя, лицо у тебя грустное? Давай-ка, родная моя, тебя развеселю... Ну и... я специалист в этих делах... оба мы всегда довольны... — Серега вдруг помрачнел, скривил рот. — Опасная эта специальность. На любовь нарваться можешь... Тогда все может случиться... И убить могут. Бывало... В Кизеле, откуда я к вам прибыл, приглянулся я одной слишком уж... Переласкал ее я немного, перестарался. И до того я ей потребовался, что

она за себя уж не отвечала. Надо было ей меня у себя закрепить. А я эту охоту заметил поздно... Ты запомни: бабы со слов дуреют, а не с дела. Сказать им можно так, что никаким делом не заменишь. Так ты ходи к ней, сполный свои обязанности молча и — уходи. И ничего тогда не будет опасного. У тебя обязанности, у нее обязанности. Все нормально. Все прекрасно. Но как только язык распустишь, тут начинается... Кизеловская-то моя манеру завела: не спит всю ночь напролет. Ей-то что? Молодая, здоровая, откормленная. У ей в одном ухе здоровья больше, чем у меня, ну, в ноге. Мне себя экономить надо. И чую я, что слов она от меня ждет. Неполное удовольствие для нее без слов-то. А я спать хочу. И свое дело я сделал... Ну и чтоб отстала, спать мне дала, я и ляпнул: люблю, мол, тебя и жить, знаешь ли, без тебя не могу... — Лицо у Сереги сморщилось, он даже носом шмыгнул, будто бы заплакнуть мог. — Тут и началось... Еще, еще скажи, она требует... На другой день вечером прихожу, у нее глаза на лбу и просит не что-нибудь серьезное, а чтоб я ей слова там разные про любовь эту болтал. Вот положение! Она со слов-то дуреть стала... Пойдем, говорит, любимый, на звезды посмотреть... Не-ет, любовь с ихней стороны — опасная штука... Отравить она меня хотела! С ножом за мной бегала! Еле-еле ноги свои плоские унес... Нельзя с бабами много разговаривать.

— Ложитесь давайте, — тоскливо сказала тетя Лида, — шестой уже...

— Чего-нибудь с клопами надо организовать, — даже не глядя в ее сторону, нехорошим, раздраженным голосом проговорил Се-

рега. — А то я в другое место переберусь, сказал.

— Ну и перебирайся, — еле слышно ответила тетя Лида, — не больно кому и надо... Койка долго пустовать не будет.

— Зря ты, милая моя, осерчала, — чуть мягче сказал Серега, и тетя Лида сразу улыбнулась ему. — Ничего обидного против тебя в уме я не держал. Но вот сама посуди: работа у меня какая? За баранкой...

— Да уж работа у тебя... сверхурочная, — тетя Лида, видимо, хотела придать голосу насмешливый оттенок, а получился умоляющий. Она с трудом пересилила себя, постояла, сжав губы, и все-таки заговорила: — Тебе, конечно, клопы спать мешают. Не высыпаясь ты, бедный. А если клопов изведу, сколько еще у нас перетерпишь?

Голова у меня была тяжелая, я уже плохо понимал, о чем толкуют Серега с тетей Лидой, слышал только, что их голоса были необычно резкими; потом я и этого не разбирал. Я оказался — вот как был — в нижней рубашке, босиком над глубокой-глубокой пропастью, откуда несло холодом и леденило мне ноги, меня неудержимо тянуло упасть туда, вниз, я сдерживался из последних сил и — полетел. И проснулся, едва успев усидеть на табуретке.

Серего и тети Лиды в комнате не было, я потушил свет и рухнул на койку, подумав, что в одеяло завернусь потом, во сне.

Приснилось, что мы с Любкой катаемся на лодке, мне холодно, особенно ногам; мне стыдно — ведь я в нижней рубашке, а Любка обычно — в ватных штанах, из-за которых очертания ее фигуры становятся вызывающе-оболь-

ститтельными, в короткой телогрейке, в красноармейском шлеме... Гудка я не слышал, меня разбудили ребята. В голове аж шумело. Не помогло ни умывание ледяной водой, ни кружка кипятка с куском хлеба, густо посыпанного солью, ни табак. Да и все ребята не выспались толком. Никому не хотелось выходить на мороз да на целых двадцать, а то и больше часов... Мне было хуже всех. Я мог прийти на базу и услышать, что выездов на буровые сегодня нет, отправляйтесь отдыхать или — что на сегодня заявок много, полезайте в кузов и на самую дальнюю буровую, вернетесь завтра к вечеру...

У меня всегда в запасе было несколько отгулов — переработанных сверх нормы суток. Но отгул дали, когда я уже вышел на смену, и не говорили, на сколько, вызвать могли в любой момент. А сегодня мне и на буровую ехать вот так не хотелось, и в общежитие возвращаться не особенно манило.

Молодость жестока в оценках, скоро на них, самоуверенна. Это и мешает ей приглядеться, воматриваться, вдумываться... Вот и я на какое-то время отвернулся от тети Лиды, чем обидел и напугал ее. Мне показалось, что она унизилась до того, что готова на все, лишь бы Серега оставался жить у нас, так сказать, на прежних правах и с прежними обязанностями. За всем ее поведением я видел только это желание. Что делать: иногда внешнее проявление чувств находится в удивительном противоречии с их истинным содержанием, особенно если застать человека в минуты душевной слабости, или когда человек вынужден защищаться.

Так было и с тетей Лидой: в последнее время я видел ее только обиженной, оскорбленной, раздраженной. А если к этому еще добавить и то непременно условие, что судить человека следует, учитывая его личные особенности и обстоятельства его судьбы, то я был явно несправедлив по отношению к тете Лиде.

Выяснилось это в утро, когда мне на базе сказали, что сегодня работы не предвидится, я вернулся в общежитие и, открыв дверь, услышал радостное пение тети Лиды. Она только что закончила мыть полы и в высоко подоткнутой юбке, открывавшей великолепные белые ноги, расхаживала по комнате, поправляя постели.

Мы сели побаловаться кипяточком. Тетя Лида выделила по такому случаю сахарина.

— Выгоню я клопов, — весело сказала она, — средство я одно знаю. Но пользоваться его можно только один раз в жизни. Старуха-лешачиха меня научила, в девках еще когда я была. В деревне у нас ведмичала... А то смешно: из-за клопов мужика такого потерять... — Она криво усмехнулась, долго смотрела мимо меня, снова красивая, снова помолодевшая, и я опять поверил в ее нездешнюю страсть. — Ты бы ушел куда. Я этим делом займусь. А то когда еще такого дня дождешься, когда никого дома нет.

— Теть Лид, а почему Серега, по-вашему, мужик... такой?

— Ну... — недоуменно протянула она, словно бы и обидевшись за Серегу; плечами еще пожала, тоже недоуменно. — Про это не рассказать. И слов таких нету... Да только бабы в этом разобраться могут. Умеет он нас счаст-

ливыми сделать. Хоть ненадолго, да счастливыми. Человеком себя чувствуешь. Каждый пальчик он у тебя приласкает. Каждому пальчику спасибо вроде бы скажет... Обо всем с ним забудешь... И долго потом еще помнишь... Плохо то, что он с каждой — вот так... И чего дальше будет, понятия не имею. Верь не верь, а мне без него теперь — не жизнь. Самой страшно подумать, что случиться может. Из-за клопов, видишь ли, убежать собрался... На этот раз удержу... А дале — что?

Уходить мне, конечно, не хотелось, но я оделся, дошел до двери, сам не помню, как обернулся и спросил:

— А любовь это у вас, тетя Лид, или...

Она не удивилась вопросу, ответила сразу:

— Не в словах дело... если один человек без другого жить не может, как хошь это называй.

Паразитов она уничтожила. Какое она там снадобье знала, ее тайна, но клопы больше не появлялись. А мне в голову часто приходила совершенно идиотская мысль: никакого снадобья не было. Тогда—что? Потусторонние силы, что ли? Но я так и вижу: стоит тетя Лида посередине комнаты, глаза полны слез, и шепчет что-то она, и такая мольба исходит из всего ее существа... Чертовщина это, конечно, но долго она не забывалась...

Странно: без всяких определенных причин, по крайней мере новых, я с каждым днем все более ненавидел Серегу. Дело дошло до того, что я не мог слышать даже звука его голоса. Особенно почему-то я не выносил его походки — он шаркал подошвами по полу. Возмущала его какая-то болезненная чистоплотность: он подолгу отмывался, брился ежедневно, чуть

ли не каждый день тетя Лида ему что-нибудь стирала, постельное белье ему меняла чаще, чем нам. Он боялся *заразы*, почему и каждое утро рассматривал прыщики на лице, словно изучал их, тело свое все рассматривал, пугаясь любого пятнышка. Был он нагл и жалок одновременно.

Ко мне он относился по-прежнему, откровенничал, а я сколько ни отворачивался, Серега этого не замечал.

Просто в голове не укладывалось: как он ухитрялся с его внешностью, нелепейшей походкой, полным отсутствием того, что сейчас зовется интеллектом, пользоваться успехом у всех, у кого он желал иметь успех.

Как-то я вернулся из поездки во второй половине дня, промерзший до костей, и застал в общежитии тетю Лиду и Серегу. Он лежал на койке, а она сидела спиной к нему у печки. Они молчали, но тетя Лида словно специально ждала моего прихода, выждала, когда я разденусь, умоюсь, налью в кружку кипятка, сяду к столу, и лишь тогда заговорила, полуобернувшись к Сереге:

— Любка-шоферка сказывала, что ты ее ласточкой кличешь. При всей столовой хвасталась.

— Ворона она после этого, — испуганно пробормотал Серега, — или сорока... — и он предостерегающе повысил голос: — Не уважаю, когда ко мне вмешиваются. Кто жизнь мою трогает. Да и мало ли кто что треплет...

— Ласточка, говорит ты моя, — еле слышно шептала, глядя в потолок широко раскрытыми глазами тетя Лида, будто мечтала: — Улетим мы с тобой в теплые края, сошьем там себе гнездышко...

— Не мог он так говорить! — вырвалось у меня.

— В том-то и дело, что говорил, дурак! Я дурак, говорил! — Серега громко постучал себя кулаком по лбу. — В том-то и дело. Распустил язык, обормот! Рахитик несчастный! Слабак! Выманила она из меня эти слова!

— И птенчиков с тобой выведем, — с трудом шевеля сухими губами, еле слышно выговаривала тетя Лида. — И всем-то ты довольная будешь, ласточка моя сизокрылая... А вдруг в гнездышке у вас клопы заведутся? Кто вам их выводить будет?

— Ну хватит, хватит, хватит, хватит! — Серега вскочил, замахал руками. — Я и сам не знаю, откуда у меня такие слова оказались! Сама она их придумала, а говорить меня заставила!

— Изверг ведь ты, — с удивлением даже произнесла тетя Лида. — И не боишься?

— Как не боюсь? — отозвался Серега. — Еще как... Психопаток-то много среди вашего брата имеется. Вот ты чего завелась? Твое какое дело? Я тебе — что? Муж? Не было такой договоренности. Могу хоть сейчас уйти, если не устраиваю... Одна дура языком треплет, другая и рада — оба уха развесила... — растерянно сказал он словно самому себе. — Полюдски ведь с тобой договаривались... хорошо жили и вот... И так всегда! — пожаловался он мне. — Вот как только слово *любовь* (он произносил «любофф») от тебя услышу, — он уже повернулся к тете Лиде, — и больше меня не увидишь!

Серега действительно недоумевал, и вид у него был жалкий. Тетя Лида ушла за перего-



родку, слышно было, как тяжело она опустилась на кровать, замолкла, вдруг всхлипнула, уже не могла сдержаться и закричала сквозь рыдания:

— Совесть у тебя никакой нету! Война, а ты тут... Чем я тебе не угодила? Хоть капельки какой не отдала, а? А ты ее.. ласточкой!

Серега хрипло вздохнул, с сожалением покачал головой: дескать, вот тебе и вся благодарность, а ведь как старался, чтоб ей хорошо было. Так нет, надо все испортить!

— Не терплю я! — шепнул он мне. — Ненавижу, когда свободу отымают! Вот посади меня в тюрьму, я и дня там не проживу: порешу с собой! Вот привяжи меня к бабе — или ее, или себя тут же без дыхания сделаю. Мое первое право! — крикнул он, полуобернув голову в сторону перегородки. — Чтоб поменьше у меня командиров было! Особенно — среди вас! — И, наклонившись ко мне, продолжал, стараясь унять нервную дрожь: — А у баб это в крови, командовать-то. Вот она тебя добиваться будет, про любовь эту самую все уши просвистит, ну и придешь ты к ней, растревожила она тебя, любовь эту самую, как заразу какую, передала. Шары у нее на лоб от счастья передвинулись. Ну ты свое дело знаешь, полюбить ее надо. Понравилось это ей. Вот и сиди с ней как бобик. Будто она одна на всем белом свете. И законы всякие придумали, чтоб не охота тебя держала, а... Приговорят вот с этой вот из одной тарелки хлебать, в одной постели спать, в один нужник ходить... и не чирикай, не вякай... Чем вот ей плохо было? — уже истерично крикнул он, махнув рукой в сторону перегородки. — Жила одна, от вас, сопляков,

проку нет, да и не позволила бы она себе такого... Тут я к ней не по-кобелиному ведь, а карточки отдал, зарплату приношу. С душой — это называется. Дорогая моя, милая ты моя, вот так-то мы жить будем. Согласная на это? Ага, ага! Куда там как обрадовалась... А что теперь получилось?.. Вот это, — он провел пальцем по лицу, — всегда опухлое. Ревет потому что, лекции мне лежа говорит вместо того чтобы... ну, сам понимаешь. Ненавижу я, когда один человек другого к себе привязать хочет! Вот дай ей волю, она меня и на работу пускать не будет, в сундук запрет, а выпускать будет только на ночь, поест и нужду справить. И все это из-за слов. На деле меня никто никогда толком не застукивал. А из-за слов скоко раз я горел?.. Вытянут из тебя слова, какие хочут, и... не выкрутиться после этого... Дела... — тяжело продолжал Серега, быстрыми и осторожными движениями ощупав себя, двумя пальцами правой руки проведя по своему великому кадыку. — Нельзя без баб, но мороки с ними...

— Дурак ты, дурак! Изверг ты! — Тетя Лида вышла из-за перегородки, бессильно прислонилась к ней. — Не я тебя просила... Сам меня упросил... Как я теперь без тебя-то? Привыкла я к тебе... Не вижу, как без тебя остаться-то можно...

Чем, видимо, и покорял Серега женщин помимо всего прочего, так это отзывчивостью своей: не мог он видеть равнодушно обиженную им.

— Да хватит меня на вас, — почти ласково объяснил он. — И женских порядков ты не знаешь. Вот нельзя при мужике реветь. Этим

ты ему показываешь, что никакой власти у тебя над ним уж нету. Только слезы остались. И, вообще, постную физию смотреть... отвернуться лучше или другую подыскать. Я жить люблю. Я жить умею. А для этого надо, чтоб мне сапоги не жали. Чтоб я все, что умею использовать, имел. Жить я хочу только так, как я хочу! — Серега постучал пальцем по краю стола. — Никого я никогда не забижал. Все от меня довольны были. У кого башка соображает. Ненавижу! — в голосе его появились визгливые нотки. — Ненавижу, когда не по моему баба делает! Есть у меня на автобазе начальники и — хватит! Да и весь смак с бабой-то в чем? В том, что не подневольные оба! Не по приказу друг к дружке прижимаются! А тут любовь («любофф») вашу выдумали! Ненавижу я ее, ненавижу! Не может любовь ваша мужика удержать, вот тогда вам одно остается — кислотой ему в рожу! По любви, значит! Или в жратву ему чего-нибудь подсунуть — чтоб в жорчах сдох, раз не любит! — Серега весь дрожал, но сдержался и сел, прерывисто дыша, и все-таки выкрикнул: — Да я... — он махнул рукой, сплюнул, ногой долго и аккуратно растирал плевок.

— Хватит уж кричать-то, — сухим голосом попросила тетя Лида и по привычке успокаивать себя — стала переплетать свою огромную косу. — Никто с тобой не спорит. Вправду: сердцу не прикажешь.

— Не только сердцу, — наставительно поправил Серега, — носу и то приказать нельзя, чтоб он чихнул. — Этой шуткой он попытался изменить если не тему разговора, то хотя бы разрядить его атмосферу.

Но в глазах тети Лиды было что-то, чего не могли понять ни я, ни Серега. Мне почувствовалось, что весь мир вокруг нее и все заботы мира сейчас представлялись ей ничтожными по сравнению с тем, что разъедало ее душу. Она даже забыла про войну. Она была обречена на эту любовь — что бывает не так уж часто — отдалась ей вся, ничего себе не оставив, бросилась в нее, как в омут, — не выплыть, и ждала, погибнет или нет.

Несколько раз в жизни я замечал, что бездонное горе не обязательно обезображивает лицо мученика или лишает его привлекательности, — наоборот, страдание иногда делает лицо прекрасным, и жутко сознавать, что эта красота имеет нечто общее с тем, когда смерть разглаживает на лице умершего следы мук и печалей...

— Не знаю, не знаю, — бормотал Серега, наткнувшись на этот взгляд в этом лице, и стал глазами искать мои глаза, чтобы или найти в них сочувствие, или просто отдать страх. — Все вроде бы нормально было... Другая бы на ее месте молилась бы на меня. А тут... ведь посуди, — испуганно бормотал он.

Я чувствовал, что он не решался, боялся высказаться до конца, бросить тете Лиде такие слова, из-за которых еще неизвестно, как она поведет себя. И Серега счел за благоразумное отступить:

— Давай-ка, дорогая моя, вспомним, что утро вечера мудренее.

— А вечером ты к ней полезешь, — с убийственным равнодушием произнесла тетя Лида, и Серега в страхе затараторил:

— С чего ты это взяла? С чего это тебе в башку вдарило? — и, сам понимая, что слова его даже внешне лживы, он перешел на ласковый полушепот, но пока обращенный в мою сторону: — Ревнует... ниче, ниче... успокоим... пташечкой от радости запоеет... — даже тени бахвальства или хотя бы самоуверенности не проскальзывало в его голосе: медленно, незаметно Серега повернулся от меня к тете Лиде, и в голосе его зазвучали хрипловато-воркующие нотки. — Мы ведь умные. Мы дурака валять не будем. Мы хорошо жить будем. Нескандальные ведь... все у нас поделено... каждому, чего требовалось, то и досталось... — впрочем, слова теперь уже мало имели значения, работал голос, он стал до того откровенно зовущим, что у меня зардели щеки. — Махонькая она, Любка-то, рядом с тобой... Много ли она от меня возьмет?.. А ты себе вспомни... Ну?.. Вспомнила, какая ты?.. Ты, дорогая моя, тышшу раз говорю тебе, опора моя...

Серегу несколько не смущало мое присутствие. Повторяю, произносимые им слова — это одно, а голос, а вроде бы неопределенные жесты — совершенно другое по силе, он и не пытался убедить ее словами, но даже его придыхания уже переубеждали тетю Лиду, она на глазах теряла силы сопротивляться...

Пора, если еще не поздно, сказать, что я никак не причисляю Серегу к тем, кто преуспевал у женщин лишь потому, что мало мужчин осталось здесь, в тылу, или — к тем, кто нравился им только своей мужской силой. Я иногда вспоминаю Серегу и теперь-то понимаю, что он обладал умением, вернее, способностью относиться к своим многочисленным симпатиям

с редким даром: не смотря на кажущуюся неразборчивость, он был требователен, но и внимателен к каждой, и каждая обязательно соответствовала его требованиям, каждой он был благодарен за это, каждой умел доказать, что именно лишь она и есть настоящая женщина и открыть это, мол, смог лишь он. Может, все это мои домыслы, а тогда я просто не раз видел, как в него влюблялись не только с первого взгляда, а лишь ощутив его присутствие поблизости. Он был очень добр к женщинам. И я убежден, что где-то в глубине своих не совсем развитых мозгов Серега твердо был убежден, что из каждой женщины можно сделать чудо. И он умел доказать это. И за это его любили. Из-за этого он и погиб.

Конечно, была в его жизни и теневая сторона. Он жил только для себя, был сыт, обуг, работу свою шоферскую знал и делал ровно настолько, сколько требовалось, чтобы не сочли симулянтом. На довольно сносной полуторке он ездил лишь в пределах правобережного нефтепромысла, перевозя немудреные и неспешные, а часто и выгодные грузы. Шофер он был самый средний, и если бы не инвалидность, вполне вероятно, что ему пришлось бы менять профессию на более хлопотливую...

И вот когда он успокаивал тетю Лиду, а я поражался его этому умению, мне вдруг подумалось, что не тронь он таких, как Любка, судить его или, точнее, рядить было бы и не за что. Ведь он приходил и по обоюдному согласию на какое-то время делал женщину очень счастливой. Он и расставаться с ними умел, не обидев их. А то, что он многим оставлял

тоску, то она хоть отвлекала от голода и одиночества.

Он знал про женщин все, а чего не знал, о том догадывался. Серега не хотел и всегда боялся, что вызовет неумемную страсть. Она была ему не нужна. Он боялся ее всегда, но и подозревать не мог, что однажды сразу две женщины испытают к нему такую любовь, которая другого сделала бы счастливым на всю жизнь, а Серегу она погубила. Он бы еще и сумел как-то выкрутиться, по крайнему случаю, хотя бы сбежать с нашего нефтепромысла, да уж не судьба была. Любящие его женщины одного только желали — любить его безраздельно. Каждую он мог уговорить на что угодно, когда был с ней вдвоем. Вот и сейчас тетя Лида уже оттаяла. Серега уже кадык свой великий потирал от удовольствия, что ссора миновала, как в комнату, повозившись с тяжелой дверью, вошла Любка.

Тетя Лида мгновенно потемнела в лице и сразу сделалась некрасивой, а Любка сорвала с головы шлем, и ее буйные волосы (так и хочется сказать: молодые) рассыпались по сторонам, упали на лоб, и она сразу покрасивела (есть такое слово в быту), и я, словно думать мне было не о чем, размышлял о том, как Серега посмел позариться на такую. Сердце мое щемила не ревность, а несправедливость. Мы, отвергнутые, врем в таких случаях себе, уверяя, что будь он достоин ее, мы бы и не пикнули...

Тогда я и не предполагал даже, как повернутся события. Забегая вперед, я открою ход рассуждений Сереги. При всем своем восторженном отношении к женщинам он отличался

и неменьшей практичностью. Судьба достаточно помотала его, и он надеялся на себя, а не на стечение обстоятельств. О войне Серега помнил только в том смысле, что надо было добывать пропитание, работать в трудных условиях, искать жилье... И в этом смысле общежитская Любка-шоферка явно уступала тете Лиде, у которой была хоть и не комната, а отгороженный угол, и работа ее была, как говорится, не пыльная.

— Присаживайся давай, — предложил, от неожиданности придав себе совершенно невозмутимый вид, Серега, — угощений нету. Не ждали дорогих гостей. Но поглядеть на них — мы с удовольствием. Каким ветром к нам задуло?

Сесть Любке было некуда, табуретки стояли далеко от нее, а одну, ближнюю, тетя Лида подцепила ногой, подтянула под себя и не просто села, а расселась на ней, как в кресле каком-нибудь. То, что Серега не пойдет за табуреткой, было ясно. И Любка сама за табуреткой не пойдет, тоже было ясно. И только я двинулся с места, правда, подумав, что вмешиваясь в чужие отношения, как увидел, что Любка осторожно опустилась на порог.

По лицу Сереги было легко догадаться, что он взбешен ее появлением и прикидывает, как сообщить ей об этом. Простить этого он не мог.

Но первой — глухо, сдержанно спросила тетя Лида:

— Тебе говорено было, чтоб стучалась? Мужское у нас общежитие, понятно?

— Беременная я, — будничным тоном поставила ее в известность Любка, долго смотре-



ла на опустившего голову Серегу, встала, подошла к печке, взяла табуретку, поставила ее к Серегиной койке, села и проговорила уже испуганно, тонко: — Вот и пришла вам всем сказать.

— Правильно сделала, — сгорбившись как от удара и уставясь взглядом в пол, отозвался Серега нехорошим голосом. — Я в этих штуках плохо кумекаю, но проверить надо. Может, ты меня на испуг берешь. Тоже бывает такое. Да и промеж себя о таком говорят, а не при всех.

— К хромоногой Серафиме сходи, — жестко и насмешливо посоветовала тетя Лида, — она вас, молоденьких, принимает. Может, выдюжишь. Правда, и скалечить она тоже может, — тетя Лида жутко улыбнулась. — Освобождение от работы тебе на такое дело не даст никто. На ногах все перенесешь. А трудно это: Не все выдерживают. В больницу тебе нельзя. Запрещено. К Серафиме топай.

— Что делать, Сереженька, будем? — заставила Любка себя спросить так, словно ничего не слышала. — Я в комитете комсомола была. Там сказали, что если мы регистрируемся, то помогут как-нибудь.

Кровь отлила от лица Серегина, оно как-то неприятно побелело, губы тоже обескровились почти. Тревожнее того была тишина, в которой даже движение робкого пламени от угля в печке казалось слышимым. Тетя Лида наклонила голову, спрятала глаза и переплетала свою огромную рыжую косу с таким остервенением, словно она мешала ей предпринять что-то очень важное.

— А на автобазе сказали... — в безразличном голосе Любки появились искорки надеж-

ды, но Серега перебил, вставая, сжав кулаки, сунув их в карманы штанов:

— Ясное дело... Разбил бы я тебя сейчас так, что никакой бы фельдшер тебя не собрал и не сшил... Вечером поговорим. Мотай давай. Не к месту ты тут и не ко времени... — И, почувствовав, что Любка и не собирается уходить, Серега, чтобы не броситься на нее, сел. Лицо его, снова потеряв живой цвет, застыло, губы опять обесцветились почти совсем. — Тебе что сказано? Ты что сюда пришла как в клуб постановку делать? Не надо мне никаких ребеночков! — у него даже голос потоньшал от брезгливости. — Не надо! — попросил он. — Не нуждаюсь я в них! — объяснил он, долго шаркал подошвами взад-вперед вдоль своей койки, пытаясь успокоиться. — Мотай давай, говорят. Вечером поговорим... Я этих... шпингалетов, соску которые просят, не перевариваю я их... — почти ласково разъяснял Серега: — Портят они... мешают. Мне на них даже смотреть вредно. Вечером поговорим... и разговор у нас с тобой, сама понимаешь, какой будет.

— Не на такую напал, — все тем же безразличным голосом, но уже без искорок надежды сказала Любка. — Если любишь, как говорил, жить вместе будем. Семья это называется, было бы тебе известно. А если меня просто осрамить решил, обманул меня, ребеночка нашего не полюбишь, не жить тебе больше. К другой не допущу.

— Точно! — почти торжествующе воскликнул Серега. — Так я и знал! — и упавшим голосом прошептал: — Интересные новости...

А тетя Лида поправила, впрочем, без особого злорадства:

— Как раз — не очень уж интересно-то. На каждом шагу, по несколько штук в каждом бараке таких найдешь. Прилипнет какая-нибудь к хорошему мужику, а потом отлипнуть не хочет. А чем он, спрашивается, виноват? Об чем ты-то думала? И чем?

Я сидел на койке шагах в десяти от них и, казалось, каждым нервом чувствовал напряжение, сдерживаемость обеих женщин. Жаль было, что они встретились. И встреча эта не могла кончиться добром. А каждая по-своему была мне дорога. И ни одной из них у меня не было возможности помочь.

Я понимал: не мое дело — пытаться определить, за что они полюбили его. Это уже не имело никакого значения. Главное заключалось в том, что Серега возбудил в них истинную страсть, о существовании подобной он мог только догадываться и подсознательно опасаться ее... Мне даже было жаль его. В конце концов по-своему он не желал им худ.

И вот они трое молчали. А я думал: ведь до Любки у Сереги было немало и других временных привязанностей, о которых тетя Лида была, конечно, осведомлена, но почему она именно Любку, вернее, только Любку и не захотела терпеть в соперницах?

Обе женщины поникли головами. Серега взглядом уставился в потолок, и лицо его ничего уже не выражало, кроме тупой покорности, которая — я знал, — была для него всего лишь передышкой.

Тетя Лида подняла голову, и я почти физически ощутил, как больно ей это делать, и взгляд у нее оказался — не могу подобрать другого слова — очень нехорошим, тяжелым, не-

подвижным, каким-то глубоким, и голосом, от которого у меня по коже мурашки проскочили, она тягуче выговорила:

— Много вас, шмакодявок, у него было... плевала я на них... А ты первая с гнезде всерьез... и можешь его туда утянуть... И главное... — голос у нее стал ровным, обычным, а из глаз хлынули — даже по виду — горячие слезы. — Главное, что любишь ты... за это и получишь... что заслужила...

К моему величайшему удивлению, Любка и сейчас не подняла головы, просто спросила:

— А в чем же это я виноватая? Я же про вас ничего не знала... — Она замолчала, видимо останавливая себя от раздражения, от того, чтобы не упрекать Серегу; встала так медленно, будто у нее болело все тело. — Ни в чем я не виноватая... — и опять села, почти упала как подкошенная.

Серега понимал, в какое он попал положение, но обе женщины пока были еще нужны ему, и единственное, о чем он мог сожалеть, так это о том, что они встретились.

— Иди, говорю, — попросил он Любку. — Покумекать мне надо. Тебе — что? Зародилось в тебе... чего-то, ты и радехонька... А мне всю свою жизнь обследовать требуется. А под горячую руку любая мура в голову забредет. Может, я же и придумаю? — закончил он неуверенно.

— У меня мать отца бросила, обманула, — сообщила Любка тете Лиде. — А ведь не хотела ему жизнь портить. И он ее понял. Бывает на свете любовь. Такая, что и не снилась. И Сережа должен на мне жениться. Я вас моложе. Я люблю его больше. А вы...

— Ну хватит! — раньше тети Лиды крикнул Серега, чутьем уловив, что сейчас Любка еще не то наговорит. — Русским языком тебя просят: охолонись!

Не знаю, кого я сейчас больше жалел — хотя, как говорится, такая постановка вопроса может показаться по крайней мере странной — Любку, в которую я совсем недавно был влюблен, или тетю Лиду, которая научила меня варить жидкую кашу, и на моих глазах оказалась красивой женщиной...

Ища во мне сочувствия, Серега сказал:

— Растолкуй ты им обем. Может, в книжках давно все описано. Че они меня не слушают? Одна, видишь ли, языком размахалась. Кто ее просил, спрашивается? Другая — ухи развесила. Кто ей велел? И я-то тут при чем? Я бы обеих не обманул. А эта приперлася... — Он начал даже удивляться. — Все перепуталось, испортилось, мне работа лишняя... выгода тогда кому?

Любка только мельком взглянула на него, убрала под шлем свои буйные молодые волосы и направилась к дверям. Я пошел ее проводить.

«Студебеккер» стоял около барака. Любка присела на подножку кабины, долго молчала, шевеля яркими губами, будто подсчитывала что-то в уме, и полоска черных волосиков над верхней губой жила. Потом выражение лица мгновенно стало злым и презрительным, опять некрасивым, черты его обострились.

— Брезговать теперь мной станешь?.. Книжечек уже мне носить не будешь?.. Дескать, спуталась... легла по первому требованию... — Она вдруг вскочила, судорожно обняла ме-

ня и зарыдала, и закричала, хотя мимо шли люди: — Ничего-то вы не понимаете! Полюбила я его! А ненавижу его сейчас! Как он мог со старухой этой...

— Тебе куда ехать? — перебил я ее, потому что иначе было не оборвать обозначившейся истерики. — Куда ехать? Чего везешь?

О, чудо-Любка! Сразу замерев на мгновение, придя в себя, она вытерла слезы и ответила все еще дрожавшим голосом:

— На склад с долотьями.

— А ты тут торчишь, а тебя, может, ждут, — старался я привести ее в себя до конца. — Ты же со склада сразу по буровым поедешь...

— Знаю, знаю...

Она залезла в свой «студебеккер» и уехала. А я почему-то мельком про себя отметил, что это очень сильная и надежная машина, и очень послушна Любке.

Был мокрый март — сущее несчастье для производства, связанного с автотранспортом. Страдали и люди, но люди менее требовательны, чем машины...

Грязь перемешалась со снегом или снег с грязью, все это примерзло, а сверху еще мелко, вроде бы и не вредно, но неустанно падал мокрый снег. Даже воздух казался не только мокрым, но и тяжелым.

Бывают озарения в жизни, словно бы и не связанные ни с чем, когда существование твое и тех, кто рядом, становится поразительно понятным, примитивным до неприязни к самому себе за то, что ты не мог увидеть этого раньше, и то, что жизнь вроде бы вдруг ни с того ни с сего обнажает некоторые свои сути, не радуется тебе, а подавляет. Ты словно нечаянно рас-

крыл преступление, совершенное близким человеком.

И вот, стоя в месиве из снега и грязи, я вдруг уверился, что пока я приводил Любку в себя, отправляя ее с машиной на склад, Серега уже ласкал тетю Лиду, и она уже забылась; а вечером он пойдет ласкать Любку, и она забудется.

Но если бы я хотя догадывался, что никто не в силах предугадать, чем закончится любовная драма у нас в бараке, мне стало бы легче. А то я брел по совершенно пакостному месиву, чувствуя, как с каждым шагом влага проникает в сапоги вместе с грязью, как тяжелеет телогрейка, хлопал себя по лицу — тяжелые и мокрые снежинки раздражали кожу. И я понятия не имел, куда мне идти и что мне делать. Вызов на самую дальнюю буровую показался бы мне сейчас избавлением. Главное, что именно сейчас я ничего не понимал, а несколько минут назад понимал все... И лишь когда ноги мои заledenели, а сквозь телогрейку и остальные одежды проникла холодная влага, я опять понял все, понял с еще большей ясностью. В сознании моем — больном от напряжения и непогоды — сначала возникла тетя Лида, большая, красивая и очень добрая женщина, которая жила одиноко, не видя не только прелести, но и необходимости в случайных связях, а согревала душу тем, что ухаживала, как мать, за нами, двенадцатью парнишками, впервые оказавшимися вне родного дома. Потом я вспомнил Любку, которую любили все, и которая ни одного не одарила тем, что получил от нее Серега. Словно именно для него берегла она свою любовь...

И ведь надо же было им стать соперниками!

Я вернулся в барак, вымылся и от холодной воды замерз еще больше, повесил сушиться над плитой носки, телогрейку и портянки, с горя съел весь хлеб, оставленный на обед и ужин, и завалился на койку.

— Что вы ко мне пристали? — впервые сгрубил я тете Лиде, когда она подошла, и сгрубил лишь потому, что пожалел о не вовремя съеденном хлебе. — Я-то тут при чем? Какое мое дело? — Я даже попытался сострить: — Обращайтесь к другому.

— Плохо он ведь кончит, — спокойно, не замечая того, что я сказал, проговорила тетя Лида, присаживаясь ко мне в ноги. — Я-то что... я все стерплю... а шоферка эта... и ведь как легко он ее обработал... неумелая, правда... ребеночком грозит... А Серега, по-моему, ее не боится? — с надеждой спросила она.

— Боится, — решил я не врать. — Он вас обеих боится. Или вернее, вы обе неудобные для него. Обе вы к нему одинаково...

— Уж лучше бы он меня в теплые края позвал, — зябко поеживаясь, поглаживая свои литые плечи, сказала тетя Лида. — Чего они, оба молодые, могут?... А характер у нее... придавит она Сережку... на стол ей подавать будет и полы мыть. А если он от нее отвернется или не придумает, как ее уважить, она ему не простит, — и в голосе тети Лиды проскользнуло уважение. — Красивая, стерва. Даже ватные штаны и то ей к лицу... как говорится.

— Почему — стерва? Она очень хорошая. И не она его в теплые края звала. А он ее. Она никогда ни с кем не гуляла.



— А сюда зачем сегодня приперлася? Кто ей велел сюда приходить? Чтоб показать, что она меня моложе? Да Сережа еще в этом не разбирается. Ему все одно. Чего она добивалась? И Сережу расстроила.

Сергея вернулся ночью — как обычно. Электричество в бараки подавали не понятно по какому расписанию: иногда днем можно было включить самодельный кипятильник и нагреть воды для стирки, иногда мы даже обогревались электричеством, делая для этого нехитрые приспособления, а вечерами мы, в основном, сидели при коптилках. Самой неприятной особенностью снабжения нас электричеством было то, что свет мог загореться и погаснуть в любой момент.

Едва Сергей открыл дверь, как лампочка погасла. Он в темноте разделся, я зажег коптилку; читал под его долгое и громкое чавканье. Потом Сергей слезил в чемодан и дал мне большую шепотку табака, сказав:

— Кури! — В тоне его не было покровительственности, потому что ему я требовался. — Ох, девка какая, — восторженно прошептал он. — Если бы не эта самая любовь... Сматываться мне надо отсюда, — неожиданно закончил он и, прихлебывая кипяток из алюминиевой кружки, долго молчал. Потом он несколько раз оглянулся на дощатую перегородку, из-за которой могла появиться тетя Лида. — Эта, — он кивнул в ту сторону, — с ней еще толковать можно. Что к чему она иногда понимает.

— А тебе обязательно сразу двоих надо?

— А ты сколько тарелок баланды за раз съесть можешь? Разве от меня это зависит?

Таким меня на свет выпустили. Я бы их обеих не обидел, если бы Любка слова из меня не вытаскивала. И не знала бы ни одна про другую... а то и про третью... Распустил вот язык, наболтал всякого, вот они и сдурели... А жалко... Мало ведь кто толк в бабах понимает. Даже я и то оплошал... Сматываться мне надо, а я, дурак, не могу, будто тарелку не дохлебал...

Вдруг ударил морозец. На дорогах получилось — хуже не придумаешь. Машины бросало из стороны в сторону, заносило, подбрасывало... Серега возвращался с работы еле живой, видно было, что он с трудом заставлял себя стянуть телогрейку. Тетя Лида в это время уже несла ему таз с теплой водой, снимала сапоги, помогала умываться. И понемногу Серега оживал.

Не знаю, чего добивалась Любка своими почти ежедневными приходами к нам в барак. Серега недоволен, а то и злобно молчал. Тетя Лида выходила из-за своей перегородки и, обхватив литые плечи руками, неподвижно ждала.

Понемногу эта история стала раздражать всех ребят. Сидим мы, бывало, рассуждаем о чем-нибудь, а тут явится Любка, из-за перегородки выйдет тетя Лида, и наступит почти зловещее молчание — хоть уходи. Особенно нам было неприятно, если Любка приходила, когда мы обсуждали положение на фронтах.

Она совсем подурнела, лицо обострилось, покрылось светло-коричневыми пятнами. Говорила она какие-то глупости, подчеркнуто не обращала внимания на сумрачного Серегу и так же внезапно уходила, не попрощавшись.

И хотя положение на фронтах было отрадное — наши наступали, — на нефтепромысле напряжение не спадало. Закладывались все новые и новые скважины, работы нам прибавлялось с каждым днем. Основное бурение шло на левом берегу, и ежедневно, в ледоход мы, электроразведчики, переплывали Каму туда и обратно. Буровики жестроили себе жилья и неделями не покидали левый берег.

В начале апреля снова все растаяло, в воздухе, как говорится, повеяло весной. Сил у нас прибавилось, и ребята стали возвращаться в общежитие попозднее...

Дорог на нефтепромысле не строили, они были только в городе и вблизи него, а почва была глинистой, и переезды на буровые и обратно отнимали иногда времени чуть ли не больше, чем сама работа.

«Студебеккерам» было легче, чем другим машинам.

Впереди у них перед радиатором была лебедка с тросом. Стоило машине забуксовать или безнадежно увязнуть, шофер разматывал трос, обвязывал его вокруг столба или дерева, включал мотор, и машина сама себя вытаскивала из грязи. Так что Любке было чуть легче, если бы не ее душевное состояние. Я понимал, что развязка приближается, хотя не видел Любки и Сереги подолгу. Тетя Лида выглядела спокойной, побывала в городской парикмахерской — завилась, обрезав косу, подкрасила брови и ресницы, словно утверждая этим, что у нее в жизни все благополучно.

Бездорожье настолько усложняло работу, мы так выматывались, добираясь до буровых и обратно домой, что ели в столовке маши-

нально, без удовольствия, а это значит, что совсем не наедались. Даже маленькое количество пищи надо не сглатывать, а смаковать — тогда и возьмешь от нее все; добравшись до общежития, мы уже могли не умываться, а тетя Лида, занятая собой, давно от нас этого не требовала. Скинув верхние одежды, мы валились на койки. В поездку меня будили оквозь глубокий сон, к машине я шел, пошатываясь, и просыпался окончательно лишь где-то в дороге...

В бараке я появлялся либо тогда, когда все уже спали, либо когда там никого не было, и сразу засыпал, ни с кем не поговорив. И на какое-то время любовная история, центр которой оказался у нас в бараке, была мной напрочь забыта. И если бы мне вдруг сообщили, что кто-то кого-то безумно любит, я бы просто не сразу сообразил, о чем идет разговор.

Но ко всему привыкает человек. Я собрался, выстоял очередь в баню, отпарился, а перед этим сходил в парикмахерскую и стал нормальным человеком, даже сил у меня прибавилось.

Утром я спросил в умывальне Серегу: — Ты же смотаться отсюда хотел?

— А куда? — вопросом ответил Серега без всякого раздражения или хотя бы недовольства. — Думаешь, так просто? Но — надо. Только бы момент не упустить. Звереет Любка с каждым днем все больше, а у меня к ней проходит все... С лица совсем страшная стала.

Да и сам Серега как-то померк за это время.

— Вот нашелся бы умный человек, — говорил он в умывальне, — умный да еще бы с характером, да и выгнал бы меня отсюда. А то привык к теплу-то да и сытости. Надо, надо

смаываться, пока беды не стряслось. Ты не смотри, что Лидка тихая с виду, внутрих у нее... огонь из березовых дров.

— Так уматывайся.

— Не могу, — признался, помолчав, Серега, — не могу куска бросить, пока каждую крошечку не подберу. И другому ни одной крошечки не отдам. Хорошо мне здесь... — Он тяжело вздохнул. — Нет. Сбегу к лешему.

Проклятой ночью, одной из тех, которые царапают память всю жизнь, нам пришлось переплывать Каму, правда, при луне. Все подремывали, даже те, кто за веслами. Вокруг скрежетали, а иногда и стукались о лодку льдины. В метре от берега лодка опрокинулась, мы долго вытаскивали ее, еще дольше не было машины, которая должна была прийти за нами, а когда мы наконец добрались до буровой, то отключили электричество, а когда вдруг загорелись лампочки, то всю ночь нас преследовали разные неполадки и ругань буровиков, которым мы задерживали проходку скважины. Под утро мы до того измотались, что готовы были по любому поводу броситься друг на друга с кулаками. Когда же утром подъехали к столовке, она оказалась еще закрытой, и мы заснули в кузове, и начальник легонько, но больно пинал нас, чтобы разбудить и отпустить машину на базу, где она нужна позарез... И мы проснулись и разошлись по своим обществитиям.

У нашего барака стояла Серегина полуторка. Я вошел в комнату, еще на улице начав стягивать одежды, чтобы сразу залечь спать. Но у койки меня перехватил Серега, сказал:

— Расчет я оформил... Машину с грузом перегоню до Оверят, там ее сдам и — на поезд...

Тут же рядом оказалась тетя Лида, проговорила, стараясь оставаться хотя бы внешне ни в чем не заинтересованной:

— И чего ты ребеночка испугался?.. Ну родит... Ничего страшного нет, даже если и двойня появится... Скорее комнату получите.. Зря ты ее к хромоногой Серафиме не вытолкал.

— Не ребеночка вашего я боюсь! — сквозь зубы, почти на крике процедил Серега. — Я бы вас обеих на руках носил, если бы цепями мне не грозили. Я в неволе не могу.

— Никуда ты не уедешь, — раздался Любкин голос. Она вошла в комнату и, как обычно, для начала неподвижно постояла у дверей. Взглянув на Любку, я ощутил, как непреодолимое желание уснуть и нечеловеческая усталость мгновенно оставили меня, хотя и не совсем. Испугался я даже не выражения глаз Любки — обреченного, блуждающего, хотя она смотрела только на Серегу, а то меня испугало, что она не пошла к нему, а словно силой собиралась не выпустить его.

Деревянный чемодан с висячим замком стоял уже не под кроватью, а перед ней; мешок, при помощи веревки превратившийся в подобие рюкзака, лежал на койке.

— Между прочим, — сказал Серега с затаенной злобой, — было бы вам известно, и сто раз я вам об этом говорил: я — себе начальник и заместитель начальника. В жизни моей. В личной жизни моей... — Серега начал медленно приподниматься, все еще стараясь сдержаться. — Не лезь в чужие права. Пожалеешь... Он устало замолк.

И Любка молчала, будто еще ждала чего-то, потом вздрогнула, погладила себя по уже обозначившемуся животу — будто искала в этом жесте поддержки, крикнула почти:

— Мой ты, мой! Никому тебя не отдам!

У Сереги дрожали губы, он сжал кулаки — я едва не бросился к нему: мне подумалось, что он сейчас изобьет Любку, но он не двинулся с места, только дрожь перешла, казалось, с губ на все его поджарое тело, и он визгливо закричал:

— Ничей я, ничей! Свой я, свой я только! Убирайся, чтоб греха не было! Не привязать меня тебе! Я жить хочу!

— Я люблю тебя, — как бы напомнила ему в образовавшейся тишине Любка. — Ребенок у нас с тобой, Сереженька, будет...

— Не напоминай ему, дуреха, о ребенке-то, — сказала тетя Лида. — Не терпит он про ребеночка-то. Дёру он от него...

— Не от него я дёру, — все еще сжимая кулаки, но уже сдержанно ответил Серега. — Не желаю, чтоб мной кто-то командовал. На автобазе, пожалуйста. Там у меня начальников много. А здесь... А ребеночек этот — тоже ведь что-то вроде командира для меня. Убегу от вас обеих, вот гад буду!

— Я-то чем тебе не угодила? — тетя Лида вся сжалась, но произнесла это ласково. — Я тебе подарочка не готовлю...

— Никуда он не убежит, — устало и с сожалением выговорила Любка, присев на порог. — Не уедешь и — все. Не дам. Вспомни, что я тебе третьего дня говорила.

— А чего вспоминать? — сразу окрысился Серега. — Ерунду всякую говорила, пугала ме-

ня. Если бы меня две бабы делили, мне к этому не привыкать. Но вот цепи вы для меня заготовили под названием вашим любовь («любофф»)... так не буду я как шарик или барбос у вас в конуре сидеть, не буду! Я по-своему любить хочу! По-настоящему! Чтоб приказов не было!

— И из каждого города тебе убегать приходилось? — торопливо, чтобы Серега не успел совсем уж оскорбить Любку, спросила тетя Лида. — Вот сейчас ты, слышала я, в Кунгур собрался. И долго там, примерно, проработашь?

Серега устал. Он налил в алюминиевую кружку кипятка, отхлебнул несколько глотков и лишь тогда ответил тете Лиде:

— Ты бы уж помалкивала. Эта хоть умом еще не выросла, и я ее первый... кавалер, скажем... Не удержать меня вам ничем, понятно?

Любка молчала, словно бы безучастно прислушиваясь к разговору, будто бы мало или совсем ее не касавшегося.

А я вспомнил, как с неделю назад Серега рассказывал мне о их свидании. Был он заметно удручен. Я его не раз видел после свиданий — радостного, умиротворенного, убежденного, что жизнь прекрасна. Он не позволял себе поддаваться дурному настроению, он ведь любил жизнь дерзко и неохватно, и все, что могло помешать этой главной любви, он ненавидел, не терпел. Хотя на глубокую и долгую вражду он был не способен, ненависть Сереги к людям, которые могли помешать ему радоваться жизни, быстро переходила просто в презрение, но — как для него ни странно — он сделал много попыток, по его выражению, ок-



лematik Любку. Это значит, что она должна была избавиться от ребенка и снова стать такой, какой ему и понравилась. Я даже склонен предполагать, у него к Любке, помимо восторженного физического влечения, тело и еще что-то, отдаленно напоминающее ту самую любовь, проявления которой он так боялся в женщинах.

...Я стоял у плиты, грел над ней руки, хотя уже разомлел от жара, и почему-то думал о том, что дороги совсем развезло... Тепло всегда лишает сил, и я несколько раз покачнулся, и с каждым таким покачиванием мысли мои менялись. И, с трудом выпрямившись, я подумал о том, почему так спокойна тетя Лида — не могла же она быть в каком-то сговоре с Серегой?.. А временами я на мгновение засыпал с вытянутыми над плитой — не очень горячей — руками и вдруг не во сне, а на самом деле наяву сказал:

— Если он тебя не любит...

— Он меня любит, в том-то и дело, — убежденно проговорила Любка, — он просто дикий какой-то и не понимает этого. Разве можно без любви... как мы с ним?

Наконец-то я догадался сесть и налить себе кипятка, а Серега — я уже привык к этому — дал мне щепоть табака, и я с блаженством закурил: табак выгонял из меня сон и голод... Опять они — трое — молчали, а я боялся этого молчания, один я боялся того, что они — молчат. Будто бы я один знал, чем все это кончится. А никто из нас не знал. Чего собиралась делать Любка, я не имел представления. Тетя Лида стояла, прислонившись к перегородке, обхватив руками свои литые плечи, с таким

выражением лица, словно ничего и не происходило. Только Серега дергался: ведь ему надо было сейчас вот ехать...

— Не забывай нас, — сказала тетя Лида. — Не удержать мне тебя, а зла я тебе не желаю. Худо тебе будет, всегда приму.

— Эт — другой разговор, если ты серьезно. И ты на меня не сердчай, — удовлетворенно сказал Серега. — Каким мог, таким был. Хвалила ты меня не один раз. И не я себя придумал. Не сам я себя родил.

— И ты ей поверил? — с презрением спросила Любка, вставая с порога. — Да она знает, что я тебя все равно не отпущу. И тут ты жить останешься.

— Меня не отпустишь? — взметнулся Серега, и его вывороченные губы опять задрожали, и опять дрожь от них как бы передалась всему телу. Он сжал кулаки, сдерживая себя (я убежден, что все это для того, чтобы постараться не обидеть Любку), но все-таки заговорил: — А дальше — что? Чего ты со мной делать будешь, нескладная? Вот объясни нам, — он развел руками, словно обращаясь к большой аудитории. — Объясни вот нам, что ты со мной делать будешь, если я от тебя бежать собрался? Если у меня машина вот у дверей стоит? — Серега начал распаляться, сколько ни сдерживался. — На каком таком основании ты мне дорогу загродила? По какому такому праву ты в мою жизнь лезешь? — Серега бросился к вешалке, стал напяливать на себя телогрейку и кричал в лицо безучастной или, вернее, все уже решившей Любке. — Я только на свободе сильный, понимаешь? Нету смысла, понимаешь, никакого смысла нету меня при-

вязывать! Все равно я подожду рядом с вашей любовью!

— Дурак же ты, — невозмутимо сказала Любка, смотря почему-то на плачущую тетю Лиду. — Уж такой дурак, каких свет не видел... Зачем тебе в Кунгур-то отсюда ехать?

Я уже, кажется, говорил, что в душе Серега был добрым, и когда его спросили ласково, он и не смог соврать и ответил тоже ласково:

— От тебя, дорогая моя, бегу. Не получилось у нас с тобой. По твоей вине.

— А у нас с тобой! — спросила тетя Лида, уже отплакавшись и, видимо, распростившись с Серегой.

— Могло бы. Если бы вот не эта. Да еще со своим ребеночком. Да пойми ты меня! — яростно взмолился он, когда лицо Любки изказила гримаса боли и отвращения. — По согласию я на все готов! По согласию! А ты этого шпингалетика сопливого без моего согласия завела! А-а-а... — чуть ли не выл Серега. — Чего вам толковать! Чего вы понять способны! Все, понимаете, все по согласию должно быть, а не по приказу или штемпелю!

— Забыл ты, что я тебе третьего дня говорила, — с тоской и сожалением сказала Любка и вдруг надела шлем, не подобрав, как обычно, своих буйных молодых волос.

— Нет, не забыл. Порешить меня обещала. На! На! На! — Серега подставлял ей грудь. — На! Нету у тя пожа? — Он бросился к чьей-то тумбочке, вытащил нож, подскочил к Любке, всовывал ей нож в руки, кричал: — На! На! На! Режь! Режь, говорят те! А в неволю я не пойду!

— Псих, — сказала Любка, когда Серега в изнеможении опустился на койку, а она поправляла волосы такими спокойными движениями, словно собиралась на прогулку. — Обидно, что поверила тебе. Враньем меня взял, вот что обидно.

— Нет, это ты врешь! — Серега уже не владел собой, и я собирался бежать и звать кого-нибудь, чтобы унять его. — Вранья ты сама просила! Сама! Это ты без вранья не можешь! Ты! Сама!

Он схватил чемодан и мешок, грудью выбил дверь, она захлопнулась за ним, но не плотно. Тетя Лида подошла, притянула ее на себя, сказала:

— По всем правилам выписался и уволился. Не придерешься. Я сама ему обходной лист подписала. Жалко, что не по-человечески расстались. Это ты все виновата. Да и не любила ты его толком-то. Подберет тебя еще кто-нибудь, и забудешь ты нашего Сереженьку. Он у меня последний был. Скрывать не стану — поеду я его в Кунгуре искать. Мне без него... — Она не договорила.

— Я тоже за ним поеду, — отдельно, тщательно выговаривая каждое слово, сказала Любка, и у меня от недоброго предчувствия похолодели локти.

— Не надо... — попросил я, а тетя Лида схватила Любку за рукав, но Любка вырвалась и бросилась к двери.

Тетя Лида пошатнулась, шепнула: «Она же с машиной...» и села на койку, вся обмякнув.

Пока я одевался, Любка успела сесть в кабину своего «студебеккера», тронуть его с места, а я успел через задний борт влезть в кузов.

Серегина полупторка была уже далеко. Но «студебеккер» шел уверенно, мощно, надежно. Я стучал кулаками по кабине, кричал...

Расстояние между машиной и полупторкой все сокращалось и сокращалось. Эта неумолимость совершенно обессилила меня, я лишь шептал:

— Любка, не надо... не надо... не надо...

Серегга заметил, что за ним гонятся и свернул на более удобную дорогу, хотя она и вела в другую сторону. Он просто забыл, что на каждой дороге здесь впереди — подъем...

Полупторка казалась мне обреченной и жалкой.

— Не надо, Любка! — орал я, избив руки о кабину. — Не надо!

«Студебеккер» настигал полупторку, как возмездие. Любкины руки умело и твердо держали руль...

Ее не судили. Не знаю почему. Ее должны были судить хотя бы за то, что она вдребезги разбила полупторку. Разбила так, что собрать ее было невозможно. А может быть, Любку и не надо было отдавать под суд.

Серегга успел выпрыгнуть из кабины и бросился бежать. Любка гналась за ним на «студебеккере» по ямам и канавам, по каким-то трубам, я несколько раз собирался выпрыгнуть из кузова, чтобы не убится в нем.

На берегу машина так резко остановилась, что я от заднего борта пролетел вперед и головой врезался в кабину. Я чувствовал, что теряю сознание, но заставил себя встать, раскрыть глаза и — увидел: из-под капота валил

пар... Серега (когда этого можно было уже не делать) отвязывал чью-то лодку, оттолкнулся ногами от берега...

На середине Камы лодку перевернуло.

Я еле втащил ставшее тяжелым тело Любки в кабину, сбегал в ближайший барак, чтобы помогли, и очнулся уже в больнице.

Мне рассказывали, что Любка в этот же день сходила к хромоногой Серафиме, изжила ребеночка, а на другой день сама явилась в милицию.

Когда ей сказали, что судить ее не будут, она куда-то уехала.

Тетя Лида навещала меня. По-моему, она больше любила Серегу. Она похоронила его и деловито сообщила мне, поседевшая, огрузлая, постаревшая, что за гробом шла одна... Каждый раз тетю Лиду за руку уводила из палаты медсестра.

И я, выйдя из больницы, сразу переехал в другое место.

## Гул дальних поездов

*Алле Поповой*

### I

Она пришла и сказала:

— Он уезжает сегодня. Купил два билета. Велел мне приходить на вокзал... уведи меня куда-нибудь и не отпускай. Ладно?

Ночь на маленькой, испетлявшейся среди лугов, лесов и полей речушке, всплески рыбы, журчанье воды в гальке, пенье птиц да говор деревьев. Темнота и костер. Потом утро. Туман. Роса. Свежесть. Солнце.

Вот это я и предложил Валентине. Больше у меня ничего не было.

Она не слушала, но когда я замолчал, кивнула.

### II

А он не любил ее и поэтому взял от нее лишь то, что можно взять от первой встречной.

Не подумайте, что он был красив или умен. Ничуть. Вообще, неправда, будто бы женщины предпочитают красивых или умных. Нет.

Женщины любят мужчин.

Кожа у Кости была темно-смуглая, почти черная; волосы ежиком; весь он был сухой, пружинистый, будто готовый к прыжку. Он приносил с собой тысячи запахов — леса, лу-

гов, горячей земли. И если у неба есть запах, этот парень приносил с собой и его.

Наверное, Валентина была для Кости просто частью природы, которой он привык наслаждаться и в которой чувствовал себя хозяином.

Помню, сидели мы у костра — несколько километров вниз по течению от железнодорожного моста. Когда по нему проходил поезд, звуки скользили по воде и прилетали к нам.

Услышав гул впервые, Костя вздрогнул, переждал, пока не стихло, и сказал:

— Люблю жить вот так! — он палкой разворошил костер, и пламя беспорядочными языками метнулось вверх, разлетелось в стороны, с треском посыпались искры; дым и огонь пахнули мне в лицо. Я испуганно отодвинулся, протирая слезящиеся глаза, а Костя повторял, веселый и взбудораженный: — Вот так! Вот так! Черт возьми, — после молчания проговорил он, — я до сих пор не знаю, глупа природа или умна? Люди глупы — это точно. Природа наделила нас массой желаний, навывдумывала массу соблазнов. А люди напридумывали множество ограничений для удовлетворения естественных потребностей. Естественных! — многозначительно повторил он. — Я завидую, к примеру, птицам.

— Но ведь и им приходится бежать от зимы, гибнуть в пути...

— Птиц тянет на юг, и они летят. Пусть даже на верную смерть. А мы, люди, — с презрением продолжал Костя, — мы на каждом шагу ограничиваем себя, бежим от природы, давим в себе естественные желания. Того нельзя, этого нельзя, — он плюнул в костер.



Может, это была вспышка ревности — я почти закричал:

— А не завидуешь ли ты животным?

— Обязательно, — насмешливо ответил Костя, — а что? Вы, любители громких фраз и тощих истин, вы же ни черта не смыслите в живой жизни. Вы закрылись от природы стеной норм поведения и прочей белибердистикой. Вы признаете ее только потому, что не нюхали настоящей жизни. А у меня в жилах течет кровь! Понимаешь? Я живой. Почему же я должен одерживать желания, если получил их от природы?

В это время по далекому мосту проходило, видимо, два встречных поезда. Гул по реке прилетел к нам.

— Слышишь? — торжествующе спросил Костя. — Если я завтра захочу, то сяду в поезд и умчусь куда глаза глядят. И никто, и ничто не удержит меня. Ездить я не люблю, но люблю уезжать — расставаться...

— Можно разворошить палкой костер, — перебил я, чувствуя себя беспомощным, — на мгновение он будет прекрасен. А если надо сидеть у огня долгую холодную ночь? — Пламя жарко дышало мне в лицо, а за спиной были холод и темнота, страх и неожиданности. — А живешь ты на чужой счет, на чужой беде, — закончил я.

Костя вскочил. В плотной тишине голос его прозвучал подобно короткой пулеметной очереди:

— Ты вздыхаешь о ней, а я... — и он захохотал на весь лес.

Я бросился в темноту. Казалось: со всех сторон на меня идут поезда.

Валентина часто приходила ко мне помолчать. Потом я провожал ее, и у калитки она говорила:

— Спасибо.

Иногда, когда тоска бывала особенно сильной, Валентина протягивала мне руку.

Помню, пришла она вечером, сняла туфли, села на диванчик, поджав ноги. Я спросил, впервые не сдержавшись:

— Неужели у тебя нет силы воли?

Валентина ответила:

— Видимо, нет.

— Неужели ты не можешь взять себя в руки?

— Не могу.

— Неужели ты не понимаешь, что он...

— Понимаю.

— А знаешь, что в его жизни ты...

— Знаю.

— Тогда почему...

— Не знаю.

У нее был высокий гладкий лоб, почти прямые брови, большие серые глаза. Линии крупного рта четкие, будто обведенные тонким пером.

— Что же получается? — спросил я. — Выходит, что он прав?

Она пожала плечами.

— Ведь он обманул тебя, и...

Валентина перебила возмущенно:

— Он меня не обманывал! — И тихо добавила: — Он мне ничего не обещал.

— Да, но одно то, что вы стали... близки, само собой предполагает...

— А-а! — она раздраженно махнула рукой. — Все наши взгляды на жизнь не от жизненного опыта, а от рассуждений... Но ничего страшного не произошло. Просто я получила хороший урок.

Когда стемнело, Валентина встала. Я проводил ее до калитки и услышал:

— Спасибо, дружище.

Я почувствовал в себе незнакомую силу, властную, резкую, неумолимую, долго боролся с ней и — побежал.

В доме, где жили участники геологической экспедиции, горел свет. Я распахнул дверь пинком ноги.

За столом сидело пять человек. Среди тарелок и консервных банок торчали бутылки.

Костя, сощурившись, смотрел на меня, потом протянул стакан и приказал:

— Выпей. За наши успехи.

Мне стоило больших усилий не ударить его по руке. Но я взял стакан и сказал:

— Выпью. За ваши успехи. За то, чтобы души ваши были такими же прекрасными, как ваша работа.

Странно: винные пары не бросились мне в голову.

— А почему вы считаете, что наши души нуждаются в ремонте? — спросил, недружелюбно взглянув в мою сторону, рыжий худощавый парень в красной ковбойке.

— Потому что среди вас есть мерзавец.

Ко мне подошел, пошатываясь, седой мужчина в белой майке, обтягивающей расплывшееся тело. Он произнес, положив на мое плечо тяжелую руку:

— Если это так, мы... — И я чуть не засто-

нал от резкой боли в плече. — Но если это не так... — Я вырвался.

Мы с Костей встали.

Он усмехался.

— Ждем, — сказал кто-то.

— Слушайте, — ответил я. — Жила-была чудесная девушка. Прекрасная девушка. Умная. Чистая. Честная. Точно такая, какие вам часто снились в юности. И нет ничего удивительного в том, что я полюбил ее. Я знал, что только она может сделать меня счастливым. И вот появился он — хороший парень, не правда ли?

Четверо его друзей ответили утвердительно.

— И хватит, — сказал Костя, — никого твоя болтовня...

Но его друзья велели мне продолжать.

И я рассказал обо всем, даже изобразил, как хохотал надо мной Костя у костра.

Он произнес лениво:

— Все это фразы. А я пойду к ней. Понимаешь? Сейчас. Понимаешь?

Мы молчали.

И Костя, крикнул уже не мне одному, а всем нам:

— Я иду к ней! Ясно?

Когда захлопнулась дверь, мне захотелось расплакаться, громко, обиженно, не сдерживаясь.

На мое плечо легла легкая рука. Я услышал глухой голос:

— Бывает.

Это сказал мужчина в белой майке. Он стоял, покачиваясь, словно выбирая место на полу, куда упасть.

Рыжий парень проговорил:

— Черт с ним. Он был хорошим топографом.

Мы просидели почти до утра.

#### IV

Валентина пришла без опоздания, сказала:

— Поезд отходит в час двадцать. Он уверен, что я поеду с ним.

Я шел впереди. Она следом.

— Вчера он был у меня, — проговорила она.

Я спросил через несколько шагов:

— Ну и что?

Шелестела под ногами трава. Со всех сторон подкрадывалась пока еще светлая темнота.

Валентина расплакалась. Я ускорил шаги. Чем быстрее мы шли, тем торопливее и громче были всхлипывания. Я сказал:

— Хватит.

Надо было уйти как можно дальше, туда, куда не долетает гул поездов.

Кругом была темнота и тишина. Ее нарушали поезда. Они шли один за другим. И чем дальше мы уходили, тем, казалось, громче был их гул.

Мы разложили костер.

Валентина сидела, цепко обхватив колени руками.

— Идем? — спросил я.

Она отрицательно покачала головой.

Вдруг Валентина поднялась:

— Еще успею!

Я взял котелок, спустился к речушке, зачерпнул воды и вернулся к костру. Мне хотелось, чтобы пламя не гасло, чтобы его нельзя было потушить.

Зашипели угли, поднялись клубы пепла. Казалось, из котелка льется не вода, а темнота.

Погас последний уголек, будто подмигнул мне: ничего, ничего, бывает...

Прорывая тишину в нескольких местах, летел гул дальних встречных поездов.

— Не пускай меня,—шептала Валентина,— ты обещал. — Она порывисто обняла меня,— так, наверное, она обнимала подруг или мать — и тут же оттолкнула, побежала.

Мы бежали напрямик — сквозь кусты. Руки иногда натыкались на деревья, по лицу хлестали ветки; на каждом шагу мы спотыкались. Я слышал тяжелое дыхание Валентины.

Вдруг я почувствовал, что не слышу ее. Именно — почувствовал, а не уловил слухом.

Остановился.

Тишина.

Я медленно побрел вперед.

И со всех сторон на меня шли поезда, даже пролетали над головой. Они звали тоскливо, грозно, обиженно, возмущенно...

Я едва не налетел на Валентину. Она лежала на земле. Опустившись, я взял ее за плечи. Она вздрагивала почти в такт стуку колес. Потом Валентина притихла, вслушиваясь в него, впитывая его в себя.

Земля гудела.

Земля звала.

Паровозный гудок перекрыл гул. Валентина хотела подняться, но едва я опустил руки — иди! — как она снова села.

Наконец все стихло.

— Холодно, — сказала она.

Я пошел собирать ветки для костра.

## Мама Надя, Ленька и я

### *Почему плакала девочка*

Эту комнату мы называли кабинетом, хотя на самом деле она была обыкновенным чуланом. В нем стоял тонконогий столик, тумбочка и стул. На столике сверкала консервная банка-пепельница, рядом — стопка фотографий, придавленная большой галькой. К краю стола была привинчена кофейная мельница. Вот, пожалуй, и все, если не считать пузырька с чернилами, ручки и томика рассказов Паустовского.

Я говорю об этом так подробно потому, что кабинет-чулан и еще комната с крошечным балкончиком в доме на берегу Камы, среди сосен, берез и огородов — это счастье.

Мы приехали сюда из душного пыльного города, вырвались из круговорота заседаний, собраний, планерок, летучек, совещаний и — задышали свежим воздухом.

Вечером, расставив вещи, мы налили в чашки рислинга, охлажденного в ключевой воде, чокнулись, выпили за то, чтобы всем жилось хорошо, и сразу опьянели. Опьянели и запели веселые песни. И хотя Ленька пил не рислинг, а простоквашу, он все равно вроде бы опьянел и пел песни вместе с нами.

Спать мы легли рано.

Утром, едва проснувшись, я вскочил, открыл окно и вылез на крышу; стоял под колю-

чим ветерком, смотрел вокруг и думал. До чего же глупо мы живем, думал я, крутимся с утра до вечера, копошимся, ссоримся, куда-то торопимся, к отпуску дуреем настолько, что первую неделю отдыха ничего не соображаем, не верим, например, что можно целый день проваляться с книгой в руках... Зимой мечтаем о юге, о море, портим себе настроение, вымаливая у профкома путевку. А вот уехал сюда, всего за пятнадцать километров от города, и — какая благодать.

Через час мы сидели на балкончике и завтракали.

— Рыбачить пойдём? — спросил меня Ленька.

— Никаких рыбалок, — сказала мама Надя, — идите лучше в лес.

Лицо у Леньки стало грустным. Он проговорил:

— Смешно. В лес. Лучше рыбачить.

— А если утонете?

Тонуть мы и не собирались, а поэтому обиделись на такие слова. До того обиделись, что есть перестали.

— Идите лучше в лес, — повторила мама Надя, — грибов принесете или ягод.

— Мы рыбачить хотим, — жалобно сказал Ленька, — отпусти нас рыбачить.

— А если утонете? — снова спросила мама Надя.

Тут мы расхохотались. За кого она нас принимает? И зачем это мы тонуть будем?

— Если вы пойдёте на рыбалку, — обиженно и строго произнесла мама Надя, — я буду волноваться. Вы хотите, чтобы я волновалась?



Мы совсем не хотели, чтобы она волновалась, но еще больше нам хотелось вытащить из воды несколько ершиков.

— Вы плохие люди, — сказала мама Надя, — вы думаете только о себе. Только бы вам было хорошо. Да?

— Нет, — ответил я.

— Нет, — повторил Ленька.

— Неужели ты не хочешь ухи? — спросил я. — Мы поймаем много ершиков и сварим такую уху, что пальчики оближешь.

— Десять пальчиков, — добавил Ленька. — Мы будем сидеть на дебаркадере и ловить рыбу. Для чего нам тонуть?

Разговор закончился тем, что мама Надя махнула на нас рукой и уехала в город за продуктами.

Мы отправились на рыбалку. Я нес удочки, а Ленька червей в спичечной коробке. И хотя мне тогда было двадцать восемь лет, а Леньке пять — шестой, настроение у нас было одинаковое — замечательное.

Шли мы босиком, и теплый песок приятно щекотал нам подошвы. Через несколько шагов мы увидели, что на скамейке у забора сидит маленькая девочка в красных трусиках. Худенькие плечики ее вздрагивали. Она плакала, держась за лицо руками.

— Плачет, — насмешливо шепнул мне Ленька, — вот рева!

Девочка подняла на нас заплаканное лицо. Мы остановились.

Ленька показал ей язык.

Девочка снова всхлипнула, снова схватилась за лицо руками. Чего это она? Кругом такая благодать, а она плачет, глупая!

— Смешно, — шепнул мне Ленька.

Девочка не обращала на нас никакого внимания, плакала и плакала. Сначала нам стало жаль ее, а потом мы подумали, что жалеть ее нечего. Куклу, наверное, потеряла, или обозвал ее кто-нибудь как-нибудь, а она реветь.

Я посадил Леньку на плечи, и мы стали опускаться вниз по крутому берегу. Галька больно вбивалась мне в пятки.

Из-под берега бежали леденющие ключики. Мы быстренько пропрыгали по холодной земле и по шатким доскам поднялись на дебаркадер.

Закинули удочки и сидим важные, гордые; нам кажется, что темно-зеленая вода так и кишит ершами. Они ходят огромными стаями и сейчас как набросятся на наших червячков...

Не клевало.

— Чего это она плакала? — спросил Ленька.

— Не знаю, — ответил я. — Жалко?

— Немного.

Мы переменили червяков, поплевали на них, снова забросили удочки. Наверное, в Каме было много-много рыбы, но ни одна из них не желала, чтобы мы сварили из нее уху.

— Может, ее настукал кто-нибудь? — спросил Ленька.

— Бывают такие, — согласился я.

Мы снова переменили червяков. Снова забросили удочки.

Не клевало.

И стало нам грустно, до того грустно, что мы взглянули на берег, туда, где сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

— Может, ее умываться заставляли, а она не любит умываться? — спросил Ленька. — Помнишь, я в детстве такой был?

— А может, у нее зубы болят? — спросил я.

Мы смотрели на неподвижные удилища и вспоминали маму Надю. Она, как всегда, оказалась права. Не надо нам было идти на рыбалку, ничего из этого не получилось. Уж если мама Надя против чего-нибудь, лучше соглашайся, иначе будет у тебя неудача.

— Посмотрим на нее? — предложил Ленька.

Мы смотали удочки, высыпали червяков в Каму и поднялись вверх по берегу.

Девочки на скамейке не было.

— Ушла, — сказал я, — успокоилась и ушла. Играет сейчас.

— А вдруг все еще плачет?

Долго мы сидели на скамейке, раздумывая над тем, почему же плакала девочка и где она сейчас, плачет или нет.

Придя домой, мы старались не смотреть друг другу в глаза. Стыдно было. Маму Надю не послушались — раз, ни одного ерша не поймали — два, и девочка — три.

Потом мы сварили картошку, надергали в огороде луку и сели обедать.

— Девчонки всегда плачут, — сказал Ленька, — бабушка говорит, что у них глаза на мокром месте.

— Какое нам дело до каждой ревы, — ответил я. — Она, может, по сто раз в день плачет.

Решили поспать. Вынесли на балкончик матрас, подушки и легли.

Несколько раз мне казалось, что я засыпаю. Но стоило мне обрадоваться тому, что сон пришел, как глаза мои открывались.

— И чего я про нее думаю? — спросил Ленька.

Мы встали, и каждый занялся своим делом. Я читал, Ленька пускал корабль в бочке с водой.

А в общем было нам грустновато.

Ничего, скоро вернется из города мама Надя, и нам сразу станет весело. Привезет она разных вкусных вещей, а главное—сама придет. Когда мама Надя дома, жить как-то легче.

Мы вышли на берег, чтобы встретить ее. Мы махали руками и прыгали от радости, когда речной трамвайчик проплывал мимо. С трамвайчика нам не ответили. Мы перестали прыгать и сели.

Много людей сошло с трамвайчика на берег, но среди них мамы Нади не было.

Грустные сидели мы на берегу и тихо пели песенку:

Лед по Каме не плывет,  
Наша мама не идет.  
Кама, Кама...  
Где же наша мама?

К пристани подошел второй трамвайчик, а мама Надя опять не приехала.

Мы еще раз спели нашу песенку.

Когда человеку грустно, он ничего не может делать. Мы прогулялись по берегу, посидели на той самой скамеечке, на которой утром сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

Третий трамвайчик подошел к пристани. Много людей высыпало на берег, но среди них не было той, которую мы ждали.

— Безобразие, — сказал Ленька.

Плакать мы, конечно, не плакали, но вздыхали враз и громко.

Вдруг видим: идет по берегу та самая девочка в красных трусиках и улыбается.

— Чего это она? — спросил Ленька. — То ревет, то улыбается!

А мне подумалось, что было бы здорово, если бы девочка подошла к нам и спросила:

— Почему вы такие грустные?

Мы бы рассказали ей о своем плохом поведении, пожаловались бы, и нам стало бы легче.

Но девочка прошла мимо нас.

Какое ей до нас дело? Мы грустные, а она веселая.

— И чего ей смешно? — всхлипнул Ленька.

— Может, у нее мама приехала? — спросил я.

Мы вернулись домой и сели пить чай. Делали мы это для того, чтобы убить медленное время. Выпили по целых три чашки, вымыли посуду.

И когда нам стало уже не грустно, а страшновато, приехала мама Надя. Мы по нескольку раз поцеловали ее в обе щеки.

Она улыбалась и молчала. Она и без наших рассказов поняла, что мы во всем рассказываемся.

### *Этот красивый моряк*

— Опять ты обидел ее? — спросил я Леньку. — Выпороть тебя не мешало бы за такие дела.

Ленька ответил:

— Детей бить нельзя. Вчера по радио передавали.

Он стоял передо мной, опустив круглую, наголо остриженную голову, и время от времени проводил руками за резинкой своих грязных, бывших когда-то желтыми трусиков. Делал он так не потому, что они спадали, а, наоборот, потому что резинка была тугой. Утром мама Надя советовала ему надеть другие трусики, иначе живот заболит, но Ленька упрямо сказал:

— Замечательные трусики, а резинка у них слабая. И живот у меня, будь спокоен, закаленный.

Теперь живот его был в красных вдавленных полосах, будто его бечевками стягивали. Лицо у Леньки было вымазано сажей — это он играл в негра.

Мама Надя воскликнула:

— Ведь вчера только ты дал слово, вести себя хорошо!

Ленька и пришел ко мне жаловаться.

— Зачем ты обидел ее своим отвратительным поведением? — спросил я.

— Она говорит, что у меня твой характер, — с гордостью ответил сын и, понизив голос, добавил: — Она все равно меня любит. И тебя тоже.

— Ты думаешь, что тебе не попадет?

— Может быть, попадет, — согласился Ленька, — но она нас все равно любит.

Ему попало, и здорово. Во-первых, его не отпустили бросать гальку в Каму, во-вторых, вымыли горячей водой, в-третьих, сказали, что в ближайшее время, впредь до особого распоряжения, он не получит мороженого.

Сейчас Ленька был чистенький, свеженький и притихший.

— А вот на крышу вылезу, — спросил он, — попадет?

Я кивнул.

— А она меня все равно любит.

Ленька был прав. Мама Надя любила нас и прощала нам все. Иногда, правда, нам доставалось, но в конце концов мы получали прощение. И мы всегда думали: простит! Не выгонит же она из дому! Куда она без нас денется? Кому в воскресенье будет пирожки стряпать?

Но в этот день мама Надя, видимо, решила доказать нам, что ее терпению и любви пришел самый настоящий конец.

Днем мы с Ленькой, убедившись, что она спит и ничего не слышит, вылезли через окно на крышу, что нам было строжайше запрещено. Таковую мы увидели красоту, что забыли обо всем.

Хлопнули створки окна, и раздался спокойный голос мамы Нади:

— Вы хулиганы. Вам хочется упасть с крыши и поломать себе ноги. Пожалуйста, падайте сколько вам угодно. Мне это абсолютно безразлично, потому что обоих вас я уже ни капельки не люблю.

А мы и не поверили. Мы подумали, что кого же ей еще можно любить, если не нас?

Мы сидели на крыше, пока нам не надоело, ждали, что мама Надя позовет нас и тут же простит.

Но она не звала нас.

Когда мы влезли через окно в комнату, то не увидели мамы Нади. Мы сбегали на пристань, заглянули в магазины, к знакомым — нет. И все-таки мы были уверены, что она про-

стит нас, и не очень беспокоились ее исчезновением.

Не беспокоились, пока не увидели у калитки нашей дачи моряка. На белом кителе его сверкали изумительной красоты пуговицы, на груди были ордена и медали, а сбоку висел кортик.

Солнечный луч попал на золото кортика и стрельнул мне в глаз. Я зажмурился.

Мы стояли, разинув рот. Это был красивый моряк и, наверное, смелый.

Тут мы вспомнили, как однажды мама Надя сказала нам, что у нее есть знакомый моряк, с которым она училась в школе, что этот моряк никогда ее не обижал, даже тогда, когда еще и не был моряком, и что он, между прочим, красивее нас обоих, и что она выйдет за него замуж, если мы будем вести себя плохо, и будет у них новый сын, получше, чем Ленка.

И тут нам стало не по себе.

А моряк спросил, где ему разыскать женщину по имени Надя, фамилии которой он не знает, потому что она вышла замуж и переменила фамилию.

Как нам хотелось обмануть этого красивого моряка! Как нам хотелось сказать ему, что никакой Нади здесь нет, а если даже она здесь и живет, то его это несколько не касается, пусть плавает по своим морям и океанам и не ездит сюда совсем. Нечего ему здесь делать.

Но мы не соврали, мы сказали, что Надя живет здесь, что она наша.

И показалось, что моряк взглянул на нас с усмешкой. Дескать, невозможно даже и по-



думать, что Надя могла променять меня на вас. Вот возьму и увезу ее с собой.

— А она нас любит, — дрожащим голосом сказал Ленька. — А то что мы иногда ссоримся, то ерунда.

— Ссоритесь? — спросил моряк. — Почему?

Что ответить, мы не знали, потому что сейчас действительно не могли понять, зачем мы с ней ссорились и обижали разными глупостями.

— Можно ее подождать? — спросил моряк.

Вздыхнув, мы ответили, что можно.

Мы даже угостили его чаем.

Моряк съел три шоколадных конфеты.

А мы не теряли времени даром: натаскали полный бак воды, чтобы мама Надя была довольна; начистили овощей для супа, подмели пол.

А моряк стоял на балкончике и курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

Мы знали, о ком он думает. Мы знали, что она любит нас, а не его, хотя он и красивый.

И все-таки нам было не очень весело.

— Может, она сегодня и не придет! — громко, так, чтобы слышал моряк, сказал Ленька. — Возьмет да и не придет.

Мама Надя тут же пришла.

Она не обратила на нас внимания, поцеловала моряка и проговорила:

— Хорошо, что приехал.

А моряк развернул сверток и протянул ей набор духов в зеленой коробке.

Мы чуть не закричали. Он хитрый, этот красивый моряк! Он подарил ей именно тот набор, о котором она давно мечтала.

— А сегодня не Восьмое марта, — насмешливо сказал Ленька.

— Есть на свете люди, — ответила мама Надя, — которые хорошо ко мне относятся всю жизнь, а не только Восьмого марта.

Вот так...

Мама Надя сидела с моряком на балкончике, и они о чем-то говорили, смеялись.

Моряк курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

— Давай залезем на крышу, — предложил Ленька, — и будто бы упадем. Может, она пожалеет нас?

Мы вылезли через окно на крышу, сели у самого края. Мама Надя отлично видела, что мы рискуем жизнью, но ничего не сказала. Она вела себя так, словно нас не было не только на крыше, но и на свете!

А потом она сказала, чтобы мы готовили себе ужин, а она сейчас уедет в город и пойдет в театр посмотреть веселую комедию.

Это было уж слишком, но мы промолчали.

Мама Надя надела свое лучшее платье, наше любимое платье — голубое в белый горошек.

— Какая ты красивая, — сказал моряк.

А мы и без него знали, что она красивая! Только не говорили ей об этом. Подумаешь, приехал тут, открытие сделал! Мы смотрели на моряка и старались улыбаться.

Он был весь блестящий, чисто выбрит, на брюках — острые складки.

— Я больше в негра играть не буду, — шепнул мне Ленька, — а ты почаще брейся.

Мы проводили их до калитки.

— Когда приедешь? — спросил Ленька, шмыгнув носом.

— После спектакля, — весело ответила мама Надя.

Мы долго смотрели им вслед. Если бы вы знали, как нам было обидно!

До поздней ночи мы сидели на балкончике. И молчали.

Видимо, мы получили по заслугам.

— Кортик у него, по-моему, не настоящий, — сказал Ленька.

— Нет, кортик у него настоящий, — возразил я.

— А может, он и не моряк, — сказал Ленька. — Бывают такие: форма морская, а моря и в глаза не видели.

— Нет, — сказал я, — это настоящий моряк. Он плавал по настоящим морям и океанам. И как бы ему ни приходилось трудно, пуговицы на его кителе всегда сверкали. И как бы ему ни было трудно, он не забывал ее, которую знал еще тогда, когда не был моряком.

— Тогда понятно, — сказал Ленька.

Дачный поселок спал. Одни мы не спали. Ждали маму Надю. И совсем не трудно догадаться, о чем мы с ним думали.

— Ты разбуди меня, если я усну, — попросил Ленька. — Как только она вернется, сразу разбуди. Мне необходимо с ней серьезно поговорить. Ладно?

### *Архип*

Архип — это снегирь, симпатичнейшая птица.

Купили мы его случайно. Ходили как-то с Ленькой на рынок за картошкой. Идем обрат-

но и слышим птичий гомон. Дело было в декабре, а тут свист-пересвист, чириканье, будто ранней весной, когда каждая живинка свой голосок пробует.

Смотрим: замерзшие мальчишки продают нахохлившихся в клетках птиц.

Спрашиваем у одного мокроносого продавца, сколько стоят его красивые щеглы.

— Пятнадцать штука, двадцать пять парада за клетку пятнадцать, — протараторил мокроносый продавец.

Таких денег у нас не было.

Потом мы увидели в сторонке маленького грустного человека в мохнатой шапке. В руках он держал клетку со снегирем.

Спросили мы, сколько стоит такая птица?

— За восьмерку отдам. Да за клетку десятку. Всего-навсего восемнадцать рублей.

Мы вздохнули и пошли прочь.

— Пятнадцать за все удовольствие! — грустно крикнул продавец. — Почти бесплатно отдаю Архипа.

Тогда мы честно признались, что денег у нас одиннадцать рублей — две трешки и одна пятерка.

Грустный продавец внимательно оглядел нас и спросил:

— Любить Архипа будете крепко?

— Еще как! — ответили мы.

— Берите мое счастье за две трешки и одну пятерку! — продавец махнул рукой. — Прощай, Архип! Плакать я без тебя буду дни и ночи.

— Почему же ты продаешь его? — спросили мы. — Почему же ты свое счастье за одиннадцать рублей продаешь? Неужели ты без денег жить не можешь?

— Не деньги мне нужны, — грустно ответил продавец, — я и без денег счастливый человек. А только нету у меня никакой возможности свое счастье держать. Злые люди — соседи — выжили его... Прощай, Архип!

Мама Надя не обрадовалась нашей покупке, сказала:

— Повернуться негде, а вы целый зоопарк принесли.

Мы долго искали место, куда бы поставить клетку. Проще было бы вынести ее на кухню, но там обитал страшный кот Влас, которого боялись даже собаки.

Страшнее Власа была его хозяйка — наша соседка Анастасия Емельяновна. Она завидовала всем счастливым людям, если даже их счастье стоило всего две трешки и одну пятерку.

Больше всего на свете Анастасия Емельяновна любила ругаться.

Выйдет она утром на кухню, довольная, радостная, и рассказывает:

— Море я во сне видела. Стою на берегу и с морем ругаюсь. Уж так я его отчихвостила!

Мы вспомнили рассказ грустного продавца о злых соседях и повесили клетку над книжной полкой.

Дали Архипу клюквы.

Возьмет он ягодку, высосет сок и как потряхнет головой — брызги во все стороны.

Потом он запел грустные-прегрустные песни. Жалко нам его стало. Мама Надя открыла клетку. Архип вылетел, сел на шкаф и запел.

Утром мы проснулись от его пения. Нам даже показалось, что комната стала выше и шире.

Архип завтракал вместе с нами—прыгал по столу, лузгал семечки, сосал клюкву да воду из блюдца пил.

Я уехал на завод, мама Надя — в библиотеку, а Ленька в детский сад. Весь день я вспоминал о снегире, и работалось мне очень-очень весело.

Вечером Архип встретил нас радостным пением. Сидим, слушаем — хорошо!

Вдруг на кухне начался трам-тарарам, и раздался голос Анастасии Емельяновны:

— Измучили кота! Птицу развели! А кот волнуется! Нервный стал!

Теперь каждый раз, выходя на кухню, она устраивала трам-тарарам и громко жалела кота Власа.

Мы помалкивали.

Когда я платил деньги за квартиру, домоуправляющий спросил:

— Что же это вы птиц на коммунальной жилплощади разводите? Антисанитарией почему занимаетесь?

Я объяснил, что антисанитарии снегирь выделяет не так уж много, что...

— Не знаю, не знаю, — перебил домоуправляющий, подозрительно рассматривая меня, словно отыскивая следы снегиревой антисанитарии.

К нам явилась комиссия — целых шесть человек. Так как все сразу они не могли уместиться в комнате, то заходили по трое и спрашивали, почему мы издеваемся над пожилой женщиной, матерью троих детей. Потом они писали акт, долго беседовали с Анастасией Емельяновной, убеждая ее, что пожилой женщине, матери троих детей, кляузничать стыдно.

— Есть на свете правда, — прижав к груди сонного Власа, отвечала она. — Много вас, бюрократов, развелось! Сегодня они птицу купили, завтра собаку приволокут, а послезавтра? А? Я со свиньями жить не хочу! — и выставила комиссию за дверь, да еще вдогонку пообещала: — И до вас доберемся!

Через несколько дней меня вызвали в завком и спросили, почему я издеваюсь над матерью троих детей.

Опять приходила комиссия, опять писали акт, опять уговаривали Анастасию Емельяновну не клязничать, и опять она выставила комиссию за дверь, и опять кричала вдогонку:

— Есть правда на земле! Развелось вас, бюрократов, на нашу голову.

К счастью, Влас стянул у нас из супа курицу, и несколько дней мы жили спокойно. Я на радостях починил соседке электрический утюг, переменял шарниры у шкафа, в воскресенье сделал проводку для радио.

Архип распевал вовсю!

По вечерам он купался. Сначала он прыгал вокруг миски, потом садился на край и — в воду. Замрет и — давай трепыхаться.

Пусть вместе с клеткой он стоит всего одиннадцать рублей, жить в его компании было веселее. И мы жалели грустного продавца, который испугался злых людей и расстался со своим счастьем.

Анастасия Емельяновна купила репродуктор. Ну, думаем, будет она теперь слушать радио. Репродуктор гудел от напряжения. Архип забился в угол.

На кухне начался трам-тарарам. Соседка кричала:

— Подумаешь, образованные! Нарочно кастрюлю не закрыли, чтоб кот ихнюю курицу унюхал! Я знаю, сейчас они насчет радио зажалуются! А что, мне и радио послушать нельзя?

Первой не выдержала мама Надя, сказала:

— Я так не могу. У меня голова заболела.

— Надо сшить шапки с большими ушами,— прошептал Ленька,— и уши закрыть. Пусть себе кричит, а мы ничего не слышим.

Домоуправляющий посоветовал:

— В таких случаях лучше отступать. Сдайте вы свою птицу в зверинец.

Терпели.

Но жалко было Архипа, который даже есть перестал. Решили мы его выпустить.

— Куда же он зимой полетит! — заплакал Ленька.

Мама Надя прикрикнула на него, он заревел еще громче, я рассердился на маму Надю и выскочил из комнаты.

— Послушайте,—ласково, сквозь зубы сказал я Анастасии Емельяновне,— давайте перестанем. Пожалейте нас. Что мы вам плохого сделали?

Презрительно посмотрев на меня, соседка закричала:

— Я издеваться над собой не позволю! Думаете, если у вас образование...

Схватил я пустую трехлитровую банку и трахнул ее об пол. Влас со страху вспрыгнул на стол, и оттуда полетели миски и тарелки.

— Я тебе покажу! — кричал я. — Окна перебью! Ноги перелломаю! Все провода оборву!

Что со мной приключилось, до сих пор не понимаю.



Тишина.

Слышу — запел Архип, сначала тихо-тихо, а затем все громче и радостней.

Анастасия Емельяновна посмотрела на меня с уважением и стала подметать пол.

*Толстая тетя  
в голубом платье*

Есть такая песенка: «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу».

И очень часто, устав от работы, мы вспоминали эту песенку, из которой знали всего две строчки.

Анапа была для нас — неизвестно почему — символом жизни, пронизанной солнечным светом, теплым и беззаботным краем, где все люди добры и красивы, где есть море — то самое чудо природы, которое мечтает увидеть каждый и которого мы еще не видели.

Белую шляпу я купил зимой. Примерил — здорово! Без шляпы я самый обыкновенный человек, а надену ее — и появляется в моем облике что-то солидное.

Долго мы не могли собраться в Анапу, пока однажды не взглянули друг на друга и не решили:

— Едем! В Анапу!

Я отказался от нового костюма, мама Надя — от туфель, а Ленька дрожащим голосом заявил, что может прожить и без велосипеда. И добавил:

— По крайней мере, это лето.

В поезде нам стало известно, что мы «дикие». Оказывается, так называют нормальных людей, которые едут отдыхать без путевок.

Об этом нам сообщила толстая тетя в голубом халате. Сама она ехала в дом отдыха. Мы не стали ее расспрашивать, для чего ей ехать в дом отдыха, ведь еще больше растолстеет! Пусть, не жалко...

— Надену я белую шляпу, — запел Ленька.

— А где шляпа? — спросила мама Надя.

Стали искать.

Даже в чемодан заглянули.

Пропала шляпа!

— Вот, пожалуйста, — сказала толстая тетя в голубом халате, — плацкартный вагон. В купированных вещи не теряются. А всего лучше ехать в мягком.

— Встаньте-ка, — попросила мама Надя.

Тетя встала, мы взглянули на сиденье, — шляпы как не бывало. То есть она была, но, главное, — вида у нее уже не было. А у шляпы главное — вид.

Тетя чуть не расплакалась, предлагала нам деньги, свою шляпу, хотела записать наш адрес. Мы объяснили, что шляпы нам не жалко почти, выбросили ее в окно и помахали на прощанье рукой.

А в Москве на вокзале мы ловко сбежали от тети.

Надо ли рассказывать, как хорошо нам было?

Мы долго стояли на Красной площади, смотрели на смену почетного караула у входа в Мавзолей, прошли по улице Горького, потолкались в арбатских магазинах и — сели в поезд.

В купе с нами ехал студент и важный дядя. Студент у соседей дни и ночи играл в преферанс, и мы его почти не видели.

Важный дядя смотрел на нас с презрением, будто мы были безбилетниками.

На крючке над его головой покачивалась белая шляпа — точно такая же, какая была у меня, пока на нее не опустилась толстая тетя в голубом халате.

Весь день дядя спал с газетой в руках. Если она соскальзывала, дядя моментально просыпался, ловил ее и мгновенно засыпал.

Мы уважали его до боязни и разговаривали при нем шепотом. Стоило нам заговорить чуть погромче, как дядя открывал один глаз, и мы замолкали.

Усатая проводница покрикивала на всех пассажиров, а важный дядя покрикивал на нее, и она виновато кивала головой.

Анапа оказалась похожей на деревню, и не было в ней ничего особенного, кроме моря и солнца.

Сначала мы даже и не поверили, что перед нами самое настоящее море. Оно пахло водорослями и солью, глубиной и свежестью. Оно было разноцветное и живое. А мы были счастливыми.

— Я морем напился! Я морем напился! — восторженно кричал Ленька. — Честное слово, оно само мне в рот заскочило! Оно соленое!

К вечеру мы обнаружили, что нашим соседом был тот важный дядя, с которым нам пришлось ехать сюда в одном купе.

Он — будто ни разу в жизни не видел нас — проишествовал мимо, а мы даже поздороваться испугались.

Собачонка Чижик бросилась к нему с радостным визгом, но дядя так посмотрел на нее,

что она примолкла и виновато замахала хвостиком.

Дядя вынес во двор раскладушку, лег, развернул газету и захрапел солидно, с достоинством.

Мы сидели в беседке под огромным раненым тополем. Ранило его осколком снаряда в войну. И хотя он не упал, хотя по-прежнему одевался листвою, большое дупло напоминало о его беде.

Над нами было густое небо. Невдалеке ровно дышало живое море.

— Он ведь тоже герой, да? — спросил Ленька, глядя тополь.

— Герои — это которые с орденами, — ответил из темноты важный дядя.

— Пора спать, — перебила мама Надя и повела Леньку в дом.

А Ленька спросил:

— Этот дядя в дырках или нет? Как потвоему?

Когда они ушли, я сказал:

— Зачем же это вы при ребенке...

— И дети с малых лет должны правду знать, — проговорил дядя таким наставительным тоном, что я побоялся спорить.

С утра мы уходили к морю и возвращались поздно. Если Чижи́к встречал нас радостным лаем, мы знали: дяди еще нет дома. Если Чижи́к виновато махал хвостиком, значит, дядя спал во дворе с газетой в руках.

Как-то я сидел в беседке один. Распахнулась калитка, ко мне нетвердыми шагами подошел важный дядя и плюхнулся рядом.

— Отдыхать надо без семьи, — заговорил он. — Что за отдых, я не понимаю, с детьми и

женой? — От него несло спиртным, и слова он произносил с трудом, будто боролся с ними. — У меня жена... — дядя загадочно округлил глаза, словно намереваясь сообщить тайну, — вот такой ширины... — и показал руками размеры своего собственного корпуса. — Королева Марго... — Он достал из кармана бутылку, налил в стакан. — Ну будем здоровы и прочее, — выпил и облизнулся. — Не вино, а ситро. Вообще, безобразий у нас — куда ни ткнись, везде. Дядя выпятил толстые мокрые губы. — С водкой и то перебои бывают.

— Семья у вас большая? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Семья? — он как-то странно хмыкнул или хрюкнул, будто его коротким ударом стукнули по горлу. — Семья, семья, — с одной и той же кислой интонацией повторил дядя. — Сын и две примадонны. Вот летом и отдыхаю — живу! — он хлспнул себя по широкой пухлой груди. Жесткие волосы на ней прокалывали шелковую рубашку. — Я вообще, — он плотно осклабился. — А что? Надо жить. Жить надо... Вот вы своего ребеночка от правды бережете. А зачем? Нет, я своим чадам все говорю, как есть.

Казалось, что дядя не произносил слова, а жевал их и выплевывал. Он, давясь, допил остатки вина, взял бутылку за горлышко и швырнул в сад.

— Это свинство, — сказала из окна мама Надя, — поднимите бутылку.

— Хозяин уберет, — сказал важный дядя. — Вы его не жалейте, спекулянта. Сидят на нашей шее, фрукты-овощи... Вот вы, — он нагнулся ко мне, — вроде бы интеллигент, а на

шляпу, на шляпу заработать не можете! — и хохотнул, и ушел, ломая кусты.

Утром мы лежали на пляже и обсуждали: переезжать нам на другую квартиру или нет.

Вдруг слышим Ленькин голос:

— Здравствуйте, тетенька!

Смотрим: а это наша знакомая — толстая тетя в голубом халате.

Ветер откинул полу халата, и мы увидели над коленом большой глубокий рубец. Некрасивый.

— С войны осталось, — виновато сказала она, запахивая халат, и повернулась к морю.

А оно, живое и сильное, подползало к ее ногам.

Здесь, у берега, оно было мутное, а там, где летали чайки, — чистое, прозрачное, — чудо природы...

### *Дед*

Говорили, что он умер оттого, что ушел на пенсию. И хотя это невозможно ни доказать, ни опровергнуть, — кровоизлияние в мозг могло произойти и раньше и позже, — я согласен. Понимаете, есть что-то очень жестокое в том, что человеку, отдавшему всю жизнь работе, приходится бросать ее сразу.

Помню удивленное, виноватое, растерянное лицо Ленькиного деда, когда он утром, тяжело и громко вздыхая, слонялся по квартире в первый день пенсии. И всем нам было почему-то неловко, неудобно перед ним.

За несколько дней он постарел, еще больше сгорбился. Не знаю, что бы он делал, если бы не внук.

Отношения Ленки и деда можно было определить только одним словом — дружба. В ней не было приливов и отливов, взлетов и падений — ровное, неизменяемое чувство.

Пятилетний внук и пятидесятивосьмилетний дед отлично понимали друг друга. Объяснялось это, видимо, еще и тем, что нам, занятым повседневными делами и каждодневными обязанностями, некогда было заглядывать в свои и чужие души. Ведь жизнь делает сначала человека черствым: разрушая юношеские иллюзии, она дает взамен умение ограничивать себя в желаниях. Но с годами человек, несколько не отказывая жизни в виртуозной способности кромсать иллюзии, приходит к мысли, что надо быть таким, каким ты и явился в этот мир — наивным, простодушным, сердечным и все открывающим заново.

Вот на этом старость и детство сходятся в отличие от молодости и зрелости, у которых почти нет точек соприкосновения. Старик умом, а младенец сердцем чувствует, что жизнь прекрасна сама по себе, и стоит пережить многое, чтобы уметь радоваться тому, что иные считают пустяками.

О! Как они — дед и внук — умели жить! Как они умели из самых обыкновеннейших, зауряднейших дел делать радостные события! Даже из трамвайной поездки они приносили столько впечатлений, что разговоров и переживаний хватало надолго.

Деду не хотелось, чтобы люди замечали его старость, и он был благодарен внуку, когда тот заставлял его играть в футбол. Ленке хотелось быть взрослым, и дед, понимая и уважая его желание, покупал ему в трамвае

билет и вместе с ним радовался появлению контролера.

Жили мы тогда рядом с кладбищем, и похоронные процессии были для нас обычным, а для Леньки веселым зрелищем.

Когда старуха из соседнего подъезда радостно спросила:

— А если помрет дед-то?

Ленька ответил:

— А я бум-бум-бум! — изображая удары медными тарелками.

Старуха долго хихикала, смущенно закрывая лицо рукой.

Потом я получил комнату, и дед почти каждый день через весь город приходил навещать своего друга.

Последний раз он зашел к нам дня за два до смерти, сидел какой-то притихший, часто произносил «да-а», не сводя глаз с внука, и уже у порога сказал:

— Если умру, тульская двустволка и патронташ твои.

...Ночь я почти не спал, думая, какими словами передать сыну тяжкую весть.

Ленька проснулся необычно рано — вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Ты уже не маленький, — проговорил я, — ты должен понимать...

— Дед умер, да? — перебил Ленька.

Я кивнул.

Лицо его оставалось спокойным, задумчивым. Он долго лежал молча, потом спросил:

— Значит, теперь тульская двустволка моя будет?

Я кивнул:

— И патронташ?



Признаюсь, мне стало не по себе. И только значительно позднее я догадался, что мерил ощущения сына с точки зрения взрослого человека. А еще можно спорить, чья точка зрения в таких случаях разумнее и естественнее.

Мы молча прошли через весь город. Лишь у подъезда Ленька сказал:

— Уведи меня отсюда.

Так я и сделал — отвел его к знакомым. Они потом с удивлением рассказывали:

— Играл, бегал, смеялся — будто ничего и не случилось.

Лишь через неделю, вечером, когда об окно ударился ветер, Ленька спросил:

— А носовой платок у него с собой есть?

Утром он отнес на могилу носовой платок, на котором сам вышел зелеными нитками верблюда.

У могилы он стоял долго. Лицо его было задумчиво.

Вообще, можно было только догадываться, о чем он думал в эти дни. Да, он играл, бегал, смеялся, но это был уже не тот Ленька, чем прежде. В чем заключалась перемена, не берусь определить. Но перемена была, и не внешняя, а внутренняя. Скорей всего, что впервые в жизни Ленька испытывал одиночество, причем одну из его самых острых форм, когда чувствуешь себя одиноким не потому, что у тебя нет близких людей, а потому, что они-то есть, а одного все-таки нет. И не хватает его!

Может быть, впервые в жизни Ленька ощущал тот непреложный факт, что один человек не может заменить другого, даже если он лучше его.

Временами мне казалось, что Ленька просто не в состоянии понять, что такое — умер. А временами я думал, что только он один по-настоящему понимает это.

Ведь мы жалеем умерших, измеряя боль той пустотой, которую они образовали в нашей жизни своим уходом. Гораздо реже мы жалеем умерших из-за того, что они не испытали всех радостей.

Однажды мы пришли навестить бабушку. И вдруг явилась молоденькая розовощекая девушка штрафовать деда за задержку книг из библиотеки. Девушка возмущенно доказывала, что можно было найти время и вернуть книги.

Ленька сказал ей:

— Если бы он не умер, он бы сдал книги. Он очень был хороший дедушка.

И девушка больше не спорила. Ушла.

Мы часто вспоминали деда. Неужели обязательно нужно умереть, чтобы доказать, что ты всем нужен, что без тебя, оказывается, тебя недостает?

Создавалось впечатление — по крайней мере, у меня — что Ленька таил свою боль, а мы, взрослые, передавали ее друг другу.

Он, можно сказать, любил бывать на кладбище. Как это ни странно, весной здесь было очень хорошо. Тишина, какая-то умиротворенность, зелень и еще что-то... Что? Наверное, то, что все атрибуты смерти не производили никакого впечатления по сравнению, предположим, с радостной голубизной неба. Одна и та же мысль приходила в голову: первое, что вызывает вид смерти, — это жажда жить.

Каждый день Ленька приносил деду подарок — то пластмассового солдатика, то рису-

нок, то вышивку, то пластилинового космонавта. На другой день, если вещь не исчезала, он уносил ее обратно.

Когда он вспоминал о деде, глаза его становились задумчивыми, немного недетскими, с примесью удивления, но не грусти.

Однажды я пришел на кладбище, чтобы переменить воду в банке с цветами. Подойдя к знакомой опрадке, я остановился в изумлении: взявшись руками за железные прутья, Ленька разглядывал фотографию деда.

Я не окликнул сына. Он обернулся сам, сказал:

— Хороший был дедушка. Не понимаю только, зачем он умер? Я буду таким, как он. Буду большой, заработаю денег, поставлю ему красивый памятник. Чтобы он на коне сидел, а в руках красное знамя. Да?

Словом, жизнь текла своим чередом.

Тульская двустволка висела на своем месте.

Патронташ — тоже.

### *Веточка*

Я люблю видеть сны, такие, чтобы, проснувшись, закинуть руки за голову и долго вспоминать увиденное.

Только редко я вижу хорошие сны. Мама Надя объясняет это моей привычкой спать на левом боку. Дескать, надавишь на сердце, сожмешь его, тяжело ему биться, и сны от этого беспокойные.

Ленька спит и на левом боку, и на правом, и на спине, и на животе, а сны видит замечательные.

Приснилась ему, например, пальма. Будто жили мы в горячей Африке, воткнули в песок веточку, стали ее поливать, и выросла пальма, а на ней мартышки сидят, улыбаются.

— Мартышки тоже из веточки выросли, — объяснил Ленька, — прямо как яблоки.

Посмеялись мы и забыли про этот сон.

Но теперь, когда Ленька садился рисовать, на листке бумаги одна за другой появлялись пальмы. Были они длинные и разноцветные. Мартышки были круглые и тоже разноцветные.

Через несколько дней Ленька еще раз увидел во сне пальмы. Испуганно и удивленно рассказывал он:

— Вы подумайте, пальмы росли в снегу! В холодном снегу! Мартышек, конечно, не было. Ни одной мартышечки. А пальмы были.

Кто его знает, может, Ленька и выдумал этот сон, выдумал и — поверил.

Вечером он ушел кататься на лыжах. Возвращался он всегда с шумом: хлопала дверь, раздавался стук упавших лыж, звенел радостный голос:

— Есть хочу!

А тут Ленька вошел тихо, и сам он был тихий. В руках он держал черную от угольной пыли палочку с засохшими листьями.

— Зачем ты принес эту грязь? — спросил я.

— Что ты... — прошептал Ленька. — Это веточка. — В серых глазах его было изумление. — Это, конечно, не пальма, но она вырастет... Вот увидишь, у нее будут листья. Зеленые такие листочечки.

— Сейчас зима, — ответил я, — разве зимой растут листья? — И чтобы не огорчать сына,

добавил весело: — Вот когда мы будем жить в Африке или Анане, тогда другое дело.

Ленька с сожалением покачал головой и, словно опасаясь, что я отберу у него веточку, стал снимать пальто, не выпуская ее из рук.

Он налил в бутылку из-под кефира воды и всунул туда веточку. Вода сразу стала темноватой, будто в нее капнули чернил.

Ленька, видимо почувствовав мое неверие, сказал:

— Ну и что? Пусть не вырастет. Здесь ей тепло. А в снегу холодно. Пусть хоть согреется. — Он переменял воду, поставил бутылку на стол и спросил: — Чья же она?

А это была веточка шиповника: на ней со всех сторон торчали острые шипики-коготки.

— Колются, колются! — радостно кричал Ленька, трогая их пальцами. — Нет, нет, они не дадут ее в обиду! — и поглядывал на меня.

Сухие твердые листья пришлось оторвать — они отпадали при первом прикосновении.

Мама Надя ничего не заметила, когда пришла домой, и я сказал:

— Посмотри. Он уверен, что на этой палочке вырастут листья. Вот сейчас, зимой.

— Нет, — ответила мама Надя, — сначала появятся почки.

— А потом мартышки, — насмешливо добавил я.

Злая пурга шуршала по окну снежной крупой.

— Ты молодец, — сказала мама Надя Леньке, — молодец, что пожалел веточку. Поставь ее на подоконник к батарее. Там тепло и светло,

Мне было неловко перед ними, хотя я действительно не верил, что сухая веточка-палочка зазеленеет, да еще зимой.

А друзья мои верили. Они каждый день меняли воду. Утром, едва проснувшись, Ленка бросался к окну.

Когда их не было в комнате, я внимательно разглядывал веточку и думал: «Эх, друзья, напрасно стараетесь...»

Как-то утром Ленка не бросился к подоконнику.

В этот день он не переменял воду в бутылке.

— Глупая ветка! — с отчаянием воскликнул Ленка. — Надо ее выбросить!

И даже мама Надя промолчала.

Никто из нас не решался выбросить веточку.

А в окно стучалась пурга.

Приснился мне замечательный сон: будто бы наша веточка зазеленела. Проснувшись, я долго лежал, закинув руки за голову.

Ленка, как и я, спал на левом боку. Лицо у него было счастливое.

Он открыл глаза — и бросился к подоконнику.

— Спасибо, веточка, — услышал я.

Ленка осторожно взял бутылку двумя руками и поднес ко мне.

Почки на веточке набухли, лопнули, в них виднелось что-то очень светло-зеленое.

— Вот, — устало сказал Ленка, — захотел бы, так и мартышки бы выросли. Девять штук.

За окном жалобно повизгивала пурга.

## Война прошла

Голосили громко, во всю силу. Ревели сидя, утираясь подолами. Стоял только однорукий Силантьев, председатель колхоза, и его коричневое лицо с выгоревшими бровями было виноватым, будто он сожалел о том, что не имеет права разреветься вот так же.

— Тише, бабы, — повторил он, — тише, дуры вы... да ладно вам. В войну не ревели, а тут... ну хватит...

После каждой его просьбы женщины на мгновение умолкали, словно лишь для того, чтобы передохнуть, и снова начинали голосить пуще прежнего.

Лицо Силантьева из виноватого стало растерянным, потом жалобным, и наконец он крикнул, чтобы вытолкнуть из горла сухой комок слез:

— Хватит, так вашу!

Замолчали. Только Верка судорожно всхлипывала, и сильные, раскинутые в стороны груди ее при этом подпрыгивали. Сидела она отдельно от других, ревела громче всех, жалобнее, но никто не смотрел на нее.

— Верка! — Силантьев постучал по столу ребром ладони.

Верка замолчала и лишь часто вздрагивала.

Председатель обвел притихших женщин долгим взглядом, вздохнул, погладил нашивки

за ранения и сказал тонким, срывающимся голосом:

— Встретим наших героев так, чтобы... — и отвернулся к окну.

— Пусти слезу-то, не держи, — посоветовала Таисья, высокая сухопарая женщина с черными тоскливыми глазами. — Свои здесь, реви.

— Придумаешь тоже, — пробормотал Силантьев. — И вам нечего реветь. Хохотать надо.

— Дак припомнилось! — тихо воскликнула Верка. — Вот и прорвалось!

— Чья бы корова мычала.... — строго начала Таисья, но председатель торжественным тоном перебил:

— Встретим наших героев так, чтобы... И огурцы там разные, и капуста, ну, и сами понимаете... Доложим им, что на колхозных полях сил своих не жалели, что чести своей не ропяли, что...

Верка снова взвыла, да так жалобно, что Таисья сказала почти дружелюбно:

— Всяко, в общем, бывало, а выжили... И не завтра они домой вернутся, а еще когда...

Расходились медленно, чувствуя великую потребность быть вместе, и в то же время тянуло к ребятишкам, в избы.

Верка шла за Таисьей.

Шли молча.

— И меня и его прибьет, — убежденно сказала Верка.

— Тебя-то надо бы, — сумрачно согласилась Таисья. — Гуляла когда, весело было. Теперь бока подставляй.

— От радости я, что ли?! — крикнула Верка. — Время какое было, вспомни! И есть охо-



та было, и страшно одной-то в пустой-то избе! Голодно! Холодно! Темно! У тебя ребята, а я одна... Со страху ведь!.. Ничего, ничего, — угрожающе продолжала она, — в лесу осин много. Выберу, которая покрепче, и... — Верка замолчала, сама, видно, испугавшись своей решимости.

А шла она вразвалочку, бедра ее игриво перекатывались, будто жили сами по себе.

— Ванюшку жалко! — снова крикнула она.

— Его не тронет, — тихо возразила Таисья. — Тебе достанется. Так тебя, верно, и бить-то приятно: здоровая ты.

— Ага, ага, — вся просияв, согласилась Верка, — мягкая я... Со страху ведь я, — жалобно повторила она, — не от радости. У нас в родне гулящих не бывало. Да и чего уж слова-то выбирать! — и тоненько завсхлипывала.

Таисья шла, держа руки полусогнутыми, будто приготовившись взять ношу.

— Не я тебе судья, не меня ты боишься, не меня и уговаривай, — сказала она и свернула к своей избе.

Изба добротная, перед самой войной сложенная. Чисто в ней и пусто, и тишина здесь гулкая, даже скрип половиц режет слух.

Таисья легла на широкую лавку головой к двери, чтобы не прозевать, когда прибегут ребяташки, но заснуть не могла. Ощущение голода было привычным, она его почти не замечала, и с места ее подняло какое-то смутное незнакомое волнение.

Она умылась, переоделась в чистое, всунула разбитые ступни в брезентовые туфли, заходила по избе, будто искала чего-то.

Не сразу поняла Таисья, что это радость не дает ей покоя. Прав Силантьев: всю войну терпели; доведенные голодом иногда до отупения, жили машинально, работали, а произошла победа, и взвыли. Будто только сейчас уразумели, из какой беды выкарабкались.

Война-то далеко от этих мест была. Люди здесь если и умирали, то не часто, по одному и долго.

Не выдержала Верка, два года сытая жила. Плевали ей вслед женщины, называли не иначе как коротким, хлестким словом. Оттого и работала Верка зло, может, и побольше других. Когда родился Ванюшка, принесли ей бесценные дары — зерно, картошку, молока выписали.

Вспомнив об этом, Таисья чуть было не заревела, но пришел Силантьев.

Он ловко свернул одной рукой «козью ножку», насыпал в нее самосада. Таисья стальным брусом о кремень выбила искру на нитяной фитиль. Председатель закурил, сказал:

— Сама, конечно, понимаешь: на фронте возле каждого смерть дежурит, ну и... разве осудишь солдата? Другое дело — ваш брат в тылу... Тут это... ну, обидно солдату, когда... Ну, вот мне хорошо, я до женской части не охотник...:

— От меня-то чего тебе надо?

Силантьев поперхнулся дымом и сказал:

— Испортит нам Верка праздник.

— Я ей не защита! — сурово ответила Таисья.

— Правильные твои слова, — осторожно перебил Силантьев. — Только должен я тебе доложить, что война — это не только пули,

пушки да пал смертью храбрых... Ванюшка — это тоже война, тоже ранка... Ты ответь: работала Верка на совесть?

— Чего и спрашивать?

Прибежали ребятишки. Таисья умыла их, налила в миску молока, накрошила жмыха.

Потом, уложив ребятишек на полати, Таисья вышла с Силантьевым из избы.

С непривычки ноги от туфель болели, она сняла их.

— Понимаешь? — спросил председатель. — Ты не по-бабьему рассуждай, а...

— Не моя беда об чужом грехе заботиться, — оборвала Таисья, — мне спать пора. Во сне, может, щи увижу, похлебаю.

Она уходит в избу, раздевается, залезает на печь, ворочается на твердом ложе, ощущая каждый кирпич.

Дружно посапывают ребятишки — трое сынов.

Таисья спускается по лесенке, садится к окну. Давно с ней такого не случилось: хочется молчать, слушая, как бьется сердце. Даже плечами пошевелила — до того явственно вспомнила холодок, который проник под кофточку в то утро; шли тогда со Степаном вдоль реки, а уже женатые были, под сердцем у нее двое шевелились...

Заслышав под окном шаги, Таисья спросила:

— Ты, что ли?

— Я-я-я, — заголосила в ответ Верка.

— Тише ты! — прикрикнула Таисья. — Баб разбудишь. Спят бабы-то. Умыкались... Заходи давай, потолкуем...

## Самое длинное мгновение

Он редко думал о смерти, но когда мысль о ней все-таки приходила в голову, желал только одного: не умереть бы весной. Ведь именно в эту пору к нему неизменно возвращались силы, он будто молодел и чувствовал биение жизни даже в кончиках пальцев своих огромных, натруженных рук, прошитых темно-синими венами.

Удивительные это были руки: некрасивые, нелепые размерами и формой, они вдруг обретали неожиданную красоту и изящество, стоило им к чему-нибудь прикоснуться, потому что к любой вещи, к любому, даже малому предмету руки эти относились с нежностью и уважением, которое знакомо лишь тем, кто на своем веку много души вложил в создание вещей. Труд сделал его руки некрасивыми в момент покоя, труд преображал их, когда они делали дело.

И как раз весной-то он и вспоминал о смерти, вспоминал без страха, не веря, что перестанет дышать, что уйдет из этого неуютного, суматошного, очень ему дорогого мира; не верил, потому что врос в этот мир подобно глубокому корню... Ну, а если на то и пошло, лишь бы не весной!

А умер он весной.

Проснувшись по привычке рано, он сразу

подивился бодрости, которой была пропитана каждая частичка его громоздкого тела, подошел к окну и толкнул створки.

Холодный, пронзительный аромат черемухи ворвался в комнату.

— Закрой окно, — сонно прошептала жена, — чего тебе не спится?

Он протянул руку и почувствовал, что ему не хватает воздуха, покачнулся.

Подкрался ветер, шире распахнул окно.

А он еще дышал, еще думал, а сердце уже не двигалось. С обидой решил он: сейчас, вот сейчас он умрет.

Но — длинным, бесконечным было мгновение перед смертью, и в это мгновение он вспомнил многое и многому удивился.

Вчера шел с завода, и захотелось ему купить жене букетик цветов.

— Два рубля, — сказала подслеповатая старушка.

— Рубль, — сердито предложил он, торгуясь первый раз в жизни, — везде по рублю продают.

— Два, — упрямылась старушка.

Не денег ему было жалко, просто обидела несправедливость. Не купил цветов, расстроился, чуть не обозвал старушку спекулянткой. Чтобы утешить себя, взял он в магазине бутылку портвейна, который, по сравнению с водкой, считал вредным напитком.

Родные не дали выпить, отобрали бутылку, долго бранили. Он чертыхнулся, ушел на кухню, вбил гвоздь для посудного полотенца и сразу успокоился.

До поздней ночи ходил он по квартире и делал маленькие дела: собрал старые галоши и

сложил их в ящик, смазал керосином дверные петли, чтобы не скрипели, песком почистил таз под умывальником, золой протер ножи и вилки.

Каждое движение доставляло ему удовольствие, казалось необычайно важным.

Спать не хотелось. Он тщательно обмел пыль с приемника, купленного неделю назад. Смешно получилось: ушел в магазин за зимним пальто, а вернулся с приемником. Сначала родные дружно бранили его за неразумную покупку, но почти до утра слушали передачи.

Сейчас, в последнее мгновение, он пожалел, что не купил приемника раньше. Вообще, не умел он жить! Так и не добился благоустроенной квартиры, так и не собрался съездить в санаторий, все откладывал да откладывал, не навестил брата, не... не... не... Даже не ухитрился вчера выпить рюмку, не поставил перед женой букетик цветов!

Многого он не сделал. И чувствуя, как в него входит холодом смерть, жалел о несделанном. Маленькой показалась жизнь, короткой.

Уже родные сбежались на крик жены, увидевшей его смерть, а он еще жил, все еще длилось последнее мгновение.

Смеялась за окном лукавая весна, дышала устало и страстно, как молодая женщина, что вынырнула из ледяной воды и раскинулась под солнцем.

И он вспомнил девушку, ту, которая первой познакомила его с ласками, подарила все, чем владела... Остановил он разгоряченного боем коня около санитарной повозки, где всегда была эта девушка, а тут ее не оказалось. Больше

он ее не встретил, потому что к вечеру бросила его наземь пуля.

Вспомнил, как в далекой азиатской деревне, где-то между небом и землей — в пустыне — вылавливал басмачей, встретил свою будущую жену, как год не трогал ее. А зачем? Год, значит, отнял у радости.

Двоих сыновей своих вспомнил, но не живых, не людей, а бумажки похоронные о их смерти на поле боя.

Вдруг он с облегчением подумал, что умирает не впервые, ведь в сорок третьем году умирал — грохнулся на пол рядом со станком. Тогда вот так же холодно дышала у самого лица смерть, вот так же сбежались люди...

Черемуха за окном расплылась радужными пятнами. Он еще жил. Трудно было смерти сразу завладеть им.

Не собирался он умирать. Вчера, лежа в постели, рассказывал жене о своих планах. Впервые, к осени уйдет на пенсию, во-вторых, начнет лечиться. Жена молчала, потому что слышала это в сотый раз.

Хорошо, что не ушел на пенсию, хорошо, что купил приемник. Хорошо, что дрался с беляками и басмачами. Хорошо, что в сорок третьем грохнулся на пол рядом со станком... хорошо... хорошо... Длинной, затерявшей начало в дали годов, представилась ему жизнь. Было в ней столько событий, встреч, разлук, горя, радости, праздников, несчастий, друзей, врагов, вина, метелей, солнца, ненастья — что все это слилось в одно радостное ощущение бесконечности жизни.

И не смерть холодила руки, а живой холод металла чувствовали они.

И мертвые пальцы чутко зашевелились, привычно трогая знакомую поверхность какой-то огромной детали...

Жалко ему стало родных и близких, которые в непонятном для него страхе суетились вокруг. Что с ними? Чего боятся?

Нет, смерти не бывает, не страшна она, ну вот нисколько, потому, что не верит он в нее.

«Живем, живем» — радостно подумал он и умер, так и не успев поверить в смерть.

Лежал он, и удивительные руки его, словно живые, покоились на груди, красивые человеческие руки, готовые в любой момент вздрогнуть и начать делать дело...



## Старик и его самая большая любовь

*Алексею Решетову*

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков, — совсем невесело проговорил старик, наливая в рюмку глоток коньяка, а в чашку — холодного кофе. — Все в жизни надо по возможности делать наоборот, — грустно сострил он, по рассеянности выпив кофе и запив его коньяком. — Не мешайте, мадемуазель, — хмуро сказал он громкой черной мухе, а бесшумной бабочке он сказал: — Я вас приветствую, мадам.

И хотя на самом деле муху следовало бы назвать мадам, а бабочку — мадемуазель, старик, ссылаясь на свой возраст, считал для себя необязательным вдаваться в такие несущественные подробности. Да и просто ему обидно было, что муха хозяйничала на столе, а бабочка брезгливо пролетела мимо.

— Нельзя курить на голодный желудок, — мрачно сказал он, — это очень вредно, — и раскурил трубку, лениво успокаивая себя тем, что если дымил всю ночь, то вроде бы даже обязан встретить восход солнца глубочайшей затяжкой.

...Эх, он ведь был стар, как дом, в котором он жил. А дом за свою долгую жизнь высох, как старик, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждый шарнир превратились в не-

мудреные музыкальные инструменты. И когда ночью, в тишине, налетал ветер, дом наполнялся звуками, которые воображение старика легко соединяло в мелодии любого содержания — от нежных до тревожных.

Днем же никаких мелодий не получалось, дом поскрипывал, повизгивал, побряхтывал, самым обыкновенным образом.

Вокруг стоял вековой бор. Сосны неумолчно шумели — глухо шептали кроны, коротко постанывали стволы. Гигантские корни, будто скрюченные ревматизмом пальцы, в неустанном напряжении держали крутой песчаный берег.

Противоположный берег был пологим, и в безлунные ночи представлялось, что Кама разлилась до бесконечности...

Неподалеку существовала танцплощадка, хилое деревянное сооружение. Оттуда ветер приносил обрывки музыки: духовой оркестр старательно выдувал чистые старинные вальсы попеременно с подпрыгивающими, разорванными ритмами.

Старик сердился на танцплощадку — она мешала вслушиваться в музыку бора, в его нескончаемую песнь...

Длинными для него ночами старик внимал бору и думал. Он страдал бессонницей и воспринимал ее уже не как болезнь, а как давнишнего врага, коварного и беспощадного. Ведь самый опасный враг тот, кого когда-то, считая другом, близко подпустил к себе, который знает все твои уязвимые места.

Когда-то бессонница, тогда он еще не был стариком, была другом, он звал ее на помощь, и она помогала ему работать.

Конечно же, он и не заметил, как из друга она стала врагом. Старик не сдавался ей, но и победить не мог. У них была многолетняя пи-чья. Ноль-ноль.

Засыпал старик под утро, просыпался через несколько часов, наугад капал в стакан из какого-нибудь пузырька, неестественно бодро крякал и внушал себе, что абсолютно здоров.

И, правда, днем он обычно забывал о недомоганиях, но панически боялся наступления вечера, уже заранее готовясь к изнурительному выжиданию сна.

Хотел он этого или не хотел, а вечерами старик начинал подводить итоги прожитого дня, — вот и не спалось: опять казалось, мало сделал, опять не успел...

Бессонница выматывала еще и тем, что вынуждала вспоминать — не особенно приятное занятие, когда оно не признак молодых нерастраченных сил, а следствие усталости. Да к тому же иногда по сердцу тупо бороздило ощущение тщетности... А о чем, собственно, жалеть? Всю жизнь у него была любимая работа. Сначала он учился строить города, потом строил города, потом учил строить города... Его не будет на земле, а они останутся — и города, и его ученики, а потом — города учеников, потом — ученики учеников...

Ночью, без сна, человек откровенен сам с собой до конца. Размышляя, он как бы снимает с жизни все условности, называет вещи своими именами, и многое становится ясным. Поражаешься простоте и мудрости пришедших в голову решений. Но ближе к рассвету они кажутся в лучшем случае наивными, и снова — тревожно...

А тут еще о чем-то рокошет бор. И даже старый дом, если вслушаться, о чем-то напоминает своими песнями.

«Я совсем, совсем старею, — думал старик. — Жалко...»

Нет, не старость сама по себе пугала его. Он не воспринимал ее, как нечто обязательно связанное только с нездоровьем, угасанием сил и невозможностью ничего исправить. Наоборот, он предчувствовал, что иногда именно в старости приходит награда за то, что не успел получить в молодости.

Да и что такое старость?

Если ее воспринимать лишь как вынужденность коротать оставшиеся дни и тщетно пытаться любой ценой не выбыть из строя, тогда старость — серьезное наказание.

Он верил в другую старость. Пусть она будет телесным недомоганием, но зато принесет с собой ясность ума и чувств, беспристрастную оценку пройденных дорог, и — учтя победы и поражения — он еще сделает бросок вперед. И кто знает, может быть, вся его жизнь и окажется подготовкой к этому броску?

— Ты хитрюга, — говорил он сам себе, — ты уже практически старик, так что брось подобру-поздорову теоретические исследования на тему о старости.

И как же случилось, что он утром вместо капель выпил глоток коньяка, покурил на голодный желудок и — еще несколько глотков?

Старик усмехнулся: все понятно. Так случилось потому, что вчера он встретил свою самую большую любовь, с которой не виделся черт его знает сколько лет.

Увидев ее, старик воскликнул:

— Ты! — и небрежно пожал ей руку. — Ты можешь не попадаться мне на глаза?

— Изменись хоть немного! — смеясь, воскликнула она. — Нельзя же всю жизнь быть одинаковым. Просто удивительно, как я ухитряюсь любить человека с таким отвратительным характером.

— Я могу уйти, — гордо проговорил старик.

— Можешь, — весело согласилась она, — потому что знаешь: я побегу за тобой.

— Скажи! — оборвал старик и больно схватил ее за руку. — Ты действительно любила меня? Да?

— Глупый, — она с сожалением вздохнула и отвернулась, — ни разу в жизни я не произнесла слова любить в прошедшем времени.

— Ну, это ты врешь, — с надеждой выговорил старик. — Так не бывает.

— Ты прекрасно знаешь, что я никогда не лгала тебе. А ты никогда не хотел верить мне.

Старик поперхнулся от возмущения и обиды, но его самая большая любовь сказала:

— Когда ты не прав, тебя так и тянет со мной поссориться. Но это удалось тебе только раз.

— Ты стала болтливой, — проворчал старик.

— Конечно. Раньше у меня были зоркие глаза, чтобы глядеть на тебя. Были сильные руки, чтобы обнимать тебя. Раньше у меня были сильные ноги, чтобы спешить к тебе...

— Надеюсь, ты не будешь продолжать этот перечень частей тела? — грубо спросил старик, потому что сейчас ему было необходимо расплакаться.

— Я и до сих пор думаю, как бы я прожила жизнь, если бы не встретила тебя.

— Да хватит, — жалобно попросил старик, шмыгнув носом. — Не смей меня.

— Если бы я не встретила тебя, — продолжала она, — до чего же тускло я прожила бы! Даже подумать страшно.

— Врешь, так не бывает! — и старик вцепился зубами в трубку.

— Как ты изводил меня! — восторженно воскликнула его самая большая любовь. — Сколько я слез выплакала из-за тебя!

— Сто ведер. Эмалированных.

— Не меньше.

Она стояла перед ним, маленькая, высохшая, в больших круглых очках, в каких-то детских тапочках. Старик сказал с невольным вздохом:

— Кто бы сейчас поверил, что когда-то ты... — он опять погрыз мундштук.

— Ты веришь, и мне этого достаточно.

Старик задумчиво покачал головой. Сгорбившись, он смотрел на свою самую большую любовь сверху вниз, долго смотрел, спросил:

— Значит, ни о чем не жалеешь?

— Не знаю. Скорее всего, нет.

«А я? — думал старик, бродя ночью по берегу. — А я жалею?» Ноги словно сами собой обходили в темноте узлы корней, перешагивали через вросшие в песок паромные цепи.

Река всегда успокаивала его. Если он приходил к ней растерянный или отчаявшийся, то смотрел на воду до тех пор, пока поток чувств и мыслей не становился плавным, как течение реки. И даже зимой она оставалась для старика живым существом, страсти которого сокрыты, но ждут времени, чтобы прорваться.

Но вчера она оказалась впервые бессиль-

ной. После встречи со своей самой большой любовью старик не мог успокоиться.

Он вернулся домой, сел на балкончике.

У него было такое состояние — то ли он чего-то потерял, то ли вот-вот найдет что-то.

Давно смолкла танцплощадка. Он слушал бор. Его монотонная, похожая на морской прибой песня напоминала о чем-то вечном...

Стало прохладно, и старик шагнул в комнату, сел и зажег настольную лампу, и увидел свою тень на стене.

«Старики часто бывают похожи на сердито нахохлившихся или задумавшихся птиц, — пришло ему в голову. — Птица — символ свободы, молодости, устремления вверх, в беспредельность, в недостижимость и — старость? — Он пожал плечами, а его тень как бы пошевелила сложенными крыльями. — При чем птицы чаще гибнут, чем стареют... И все-таки старики часто бывают похожи на птиц, — упрямо думал он, — на птиц! Усталых, неспособных к полету, но ведь летали когда-то? Иначе откуда быть сходству?»

Старик встал и раскрыл окно, чтобы лучше слышать бор.

Комната была большой, но столь нелепо загромождена вещами, что свободного пространства почти не осталось. Радиоприемник на низкой подставке оказался почему-то на самой середине комнаты, кровать почему-то была далеко отодвинута от стены. Книжные полки наклонились и грозили рухнуть.

Сюда старик переехал лет десять назад, когда захотелось тишины, и как в суматохе переезда расставил вещи, так они и стояли до сих пор.

На столе лежала рукопись его последней книги. Старик был уверен, что успеет ее закончить, и она получится именно такой, какой он мечтает ее увидеть. В ней он расскажет обо всем, что узнал за свою жизнь о науке строить города. Может быть, ради этой книги он и жил, а все остальное так, сопутствовало.

Жил он один.

Одиночества он не боялся, да и сюда, в пригород, друзья наведывались куда чаще, чем раньше в городскую квартиру. Они приезжали неожиданно, возбужденные недолгой свободой от жен и внучат, шумные, веселые; доставали бутылки с вином и скляночки с валидолом, рассаживались кто где и начинали разговоры.

Случалось, что и пели.

А под конец почти всегда ссорились: видно, модели, вырвавшись из круга привычных, но старящих забот, горячились...

А вчера старики расхвастались. У них, оказывается, у каждого была в жизни большая любовь, да такая, что — давайте-ка выпьем за нее!

Эх... были когда-то и мы этими самими... как их?

У каждого и большая... Ах, какие это были любви! Беззаветные, самоотверженные, добрые, готовые, на любую жертву... И если не выскакивала на дряблые щеки слеза, то лишь потому, что есть еще порох в пороховницах!

Эх, какие они были, эти любви...

Старики пели с молодой удалью и отчаянием, разбросав галстуки и пиджаки по всей комнате, стиснув друг друга за плечи... хрустели под ногами запонки... И появись здесь нынешние девушки, они бы погоревали, что ро-



дились поздно, что настоящие-то парни — вот они...

Тут старик и придумал историю о своей самой большой любви и о недавней встрече с ней. Сочинял он с такой верой, убежденностью и потребностью, с какой зовут на помощь в трудные минуты жизни.

Начав сочинять, он еще сдерживался, чтобы рассказ его выглядел наподобие тех, которые он слышал от друзей, но увлекся и...

И она сказала, когда уже собрались прощаться:

— Напиши мне хоть одно письмо. Несколько строчек, и я буду носить их у сердца.

— У старого сердца, — проворчал он. — Ты стара для лирики. Тем более я. И вообще...

— Ты просто не можешь простить себе своей главной ошибки, — мягко перебила она. — Злишься, что слишком поздно понял, что одна я любила тебя по-настоящему.

— Я слишком поздно понял! — воскликнул старик, и трубка упала на землю. Он, кряхтя, нагнулся за ней, вытер полый пиджака мундштук и закусил его. — А ты не могла подождать? — поневоле сквозь зубы спросил он. — Ты могла не выскакивать замуж сломя голову?

— Я женщина, — тихо и виновато объяснила она, — представительница так называемого слабого пола. А мы прощаем мужчинам все, кроме того, когда они не считают нас женщинами.

...Сочиняя это, старик боялся, что ему не поверят. Но случилось нечто более неприятное: ему поверили. И тогда ему стало стыдно. Но останавливаться было уже нельзя, да он и не мог, и — продолжал.

— Ты знаешь, — сказала она, — иногда судьбу решают десятки лет, иногда годы, а иногда, особенно у женщин, и мгновения. Ты не уловил мгновения, которое решило твою и мою судьбу. И я знаю, почему ты поступил так. Мужчины настороженно и недоверчиво относятся к тому, что их сильно любят. Боятся. Потому что встреча с такой любовью требует, чтобы человек стал лучше. И вот ей, этой любви, назначают испытание за испытанием: она ведь все должна выдержать, раз она сильная. А пока мы испытываем, глядишь, она и согнется.

— Здорово ты научилась философствовать, как можно насмешливее постарался сказать старик. — Сильная любовь, — почти продекламировал он, — зависит от мгновения... Так?

— Всего-навсего. Сколько я прощала тебе, помнишь? А ты придумывал и придумывал новые испытания. — Она посмотрела на него с сожалением. — Ты боялся моей любви, потому что она была во много раз сильнее твоей. Тебе было стыдно, что ты не можешь полюбить, как я.

— Неправда, — сказал старик.

— Правда, — ласково возразила она. — Ты долго боролся сам с собой, самому себе доказывая, что ты — конечно, счастье для меня, а вот я для тебя... Хоть бы оттолкнул меня, что ли! — она даже прикоснулась к его руке, словно все это происходило не много лет назад, а сейчас. — Нет, не оттолкнул. И не звал. Я всегда приходила сама. И вдруг я устала, — виновато призналась она, но в голосе проскользнули нотки горького сожаления. — Я бы все выдержала, но... устала. На какое-то маленькое мгновение мне потребовалось доказатель-

ство твоей любви, чтобы передохнуть, набраться сил, и именно в это маленькое мгновение...— она закусила губу, — ты и был занят вышеупомянутой борьбой. И я ушла. Сразу. И навсегда.

— Жалеешь? — только и мог спросить старик.

— Я не хотела этого, — не слыша его, продолжала она, — но отомстила тебе. Отомстила, — устало повторила она. — Тебе казалось, что ты легко забыл меня, а пронес меня через всю свою жизнь. Забытая, я владела тобой, с кем бы ты ни был. И они, с кем ты бывал, чувствовали, что я рядом, и ты не весь принадлежишь им. Тебе казалось, что ты сам уходишь от женщины, потому что разлюбил ее, а ты никогда и не любил ее, а это я уводила тебя. Я не разрешала тебе никого полюбить так, как я любила тебя...

— Ладно, — одними губами выговорил старик, — пусть... Но... неужели у тебя не появлялось... как это?... желания напомнить о себе?

— А зачем? Стоило бы мне вернуться к тебе, и все началось бы сначала. Но я боялась не этого. Дело в том, что я, которая ушла от тебя, я ушла вообще, меня больше не существовало. Была уже другая я. Иногда я даже завидовала самой себе. Бывают счастливые люди—которые умеют любить. И как! Мне это счастье выпало один раз в жизни...

...Старик замолчал.

Молчали старики.

— Дурак, — сказал один из них, самый старей, — вопиющий дурак.

Никто ему не возразил.

Каждый взял стакан и выпил за здоровье

своей самой большой любви, потому что каждый перед ней был хоть немного, но виноват.

И в этот вечер старики впервые долго сидели молча, слушали бор, морщились от звуков танцплощадки и ожесточенно дымили, даже те, кто давно бросил курить.

— Дурак, — повторил самый старый старик.

А когда ветер перемешал песнь бора со звуками танцплощадки, засобирались домой.

Старик проводил их до пристани, помахал шляпой, долго стоял, словно чего-то потерявший, а потом бродил по берегу.

Плохо было старику.

До того плохо, что даже река не утешила его.

Для чего он придумал ту, которой не было?

Он тяжело поднялся по скрипучей лестнице к себе на второй этаж, постоял на балкончике и ушел в комнату.

Тревожно и мудро пел бор. И старый дом, как бы подхватывая эту песнь, был наполнен грустными короткими мелодиями. Ведь за свою долгую жизнь он высох, и каждая дощечка в нём, каждая половица, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты...

Старик сидел на подоконнике, забыв о бессоннице.

То есть как это — не было большой любви?

Была когда-то, но когда?

Позвольте, позвольте... Жёну он любил, конечно, это он точно помнит. Жили, как люди живут, только вот детей не было. Восемнадцать лет длилась эта история. И восемнадцать лет жена упрекала его в том, что он пло-

хо ее любит. Каждым взглядом своим, каждой ноткой голоса упрекала... И он всегда чувствовал себя виноватым перед ней. Когда же она умерла, он лишней раз понял, что все-таки любил ее — горькой, какой-то словно согнувшейся в ожидании удара любовью...

Были еще женщины, поначалу даже хорошие, иногда добрые, но потом они упрекали, упрекали, упрекали... и в душе возникала пустота.

И, слава богу, со временем он получил возможность обходиться без них.

...Может быть, самая большая любовь — это работа?

Ему давно хотелось лечь, но он устало и больно сидел и курил.

Таяла ночь.

Из-за Камы едва-едва светало. Вернее, еще не светало, но у всего живого рождалось предчувствие близкого рассвета.

Бор успокоился, и песнь его была просто грустной.

Дом замолк. Ведь он был стар, как старик, и ему требовался отдых.

А старик вышел на балкончик, чтобы быть поближе к песне сосен.

Нет у него к судьбе особых критических замечаний, хотя она могла быть и лучше.

Могла быть и хуже.

Не в этом дело.

Просто надо выдержать свою судьбу, и ничего у нее не просить. Непоправима только смерть.

...Ночь растаяла.

Вокруг уже начинали петь птицы — поне-долгу, пробуя голос. Ночная песнь бора смени-

лась утренней — светлой, наполненной ожиданием радости и покоя.

«Я честно прожил свою жизнь, — подумал старик, но от этой мысли ему не стало легче. — Я был счастлив своим трудом. — Он вздрогнул от возмущения. — Ты еще похвастайся тем, что никого не предал, не убивал, не воровал! Был ли ты счастлив лично? Дал ли кому-нибудь личное счастье? Хоть одной женщине? Хоть одному ребенку?»

Детей у него не было. Женщины были.

...Старый дом словно отдохнул и начал повизгивать, поскрипывать, побряхтывать.

Солнце стало теплым.

Старик поздоровался с мухой и бабочкой, выпил глоток кофе, запил его коньяком и раскурил еще теплую трубку.

И тут он обрадовался. Ведь была в его жизни большая любовь! Была! Он вспомнил ее сразу, в один миг, как будто она появилась рядом.

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечные и прочие деятельности напитков! — весело и громко повторил он. И выпил еще глоток.

Охо-хо... Это была самая большая и самая первая его любовь — глупая, как ему тогда казалось, девчонка с острыми локотками, в застиранном платьице, робкая на людях и отчаянная, когда оставалась с ним вдвоем. Никогда ничего она не просила, всегда была за все благодарна, богатая своей любовью. Она была его первой, и никто не сумел с ней соперничать. Все, что он узнал о женщине, о любовном счастье, он узнал от нее, и ни одна не смогла этого повторить.

А он не понял.

И она ушла.

Или он ушел?

И долго казалось: забыл.

Забыл по-молодому, без сожаления, тем более без укоров совести. И пронес ее через всю жизнь. Она была в такой глубине души, что чувствовалась оттуда как далекое-далекое эхо неизвестного голоса. Забытая, она владела им. Она не простила ему, что он не понял ее. Она как бы растворилась в нем... Ему казалось, что он уходит от женщины, потому что разлюбил ее, а он и не любил ее, а это она уводила его, она, его самая первая, самая большая и последняя любовь. Не разрешила она ему никого полюбить так, как она его любила.

И все-таки она была.

...Старик вернулся в комнату, и остатки запяток проскрипели у него под ногами.

Он куда-то торопился, но не мог понять, куда?

А он торопился доказать ей, что не зря они встретились. Он докажет ей это.

Старик сел за стол работать. Ведь он был стар, как дом, в котором он жил, и ему действительно надо было торопиться...

— Устиновна-а-а! — надрываясь кричит старуха. Она стоит на крыльце избы, прислушиваясь, оттянув от уха платок. Ответа нет, и она снова кричит, от усилия приподнимаясь на цыпочки. — Устиновна-а-а!

Молчит деревня, не откликается.

Тогда старуха произносит спокойно:

— А и будь ты проклята.

И садится на крыльцо, свесив голову, упершись в доски жилистыми пальцами, и широкие, острые плечи ее торчат как крылья большой ошипанной птицы.

Пятилетняя Устиновна спряталась за сараем в огороде. Когда крики смолкли, она осторожно двинулась сквозь заросли крапивы, временами тонко, почти неслышно попискивая.

Старуха снова встает на крыльце и кричит: — Устиновна!

Девочка уже стоит за углом избы, в трех шагах от бабушки, и молчит. У нее бледное, незагорелое лицо, какие редко встретишь в деревне; прямые льняные волосы закрывают шею и на концах загибаются вверх; по середине головы от лба к макушке тянется прямой пробор — полосочка розовой кожи. Глаза у девочки голубые, пронзительные, не детские, будто она смотрит на что-то нехорошее, взрослое и все понимает.



Держится Устиновна странно. Нет в ней юркости, как говорит бабушка. Явно кому-то подражая, девочка иногда делает что-то похожее на движения, какими женщины поправляют груди, или вдруг пройдет так, как ходят женщины — играя телом.

— Тьфу, пакостница! — сплюнет старуха, а Устиновна залется смехом, сразу становится обыкновенной девочкой, и глаза ее смотрят с лукавым любопытством.

Невдогад старухе, что она сама надоумила внучку так проказить. Устиновне нравится наблюдать, как злится бабушка, а рассердить ее можно только вот этими фокусами.

Бабушка сидит неподвижно, будто дремлет, опустив веки. Они очень выпуклы и почти черны, загорелое лицо в белых морщинах.

Устиновна зажимает рот рукой, сдерживая смех, но он вырывается сквозь пальцы, и девочка убегает к сараю.

Отхохотавшись, она возвращается обратно и снова наблюдает за старухой. Подойдя, Устиновна наклоняется к ее уху и что есть силы кричит, почти визжит:

— И-и-и!

Старуха вскакивает и успевает схватить внучку за руку, держит цепко, дышит громко, прерывисто выговаривая с трудом:

— Погибель моя... выродок...

Далее следуют самые отборные ругательства. Старуха произносит их без всякого выражения, будто читает неразборчивый текст.

Затем она начинает бить Устиновну, но делает это неловко и без злости: внучка увертывается от ударов и не плачет, а деловито подвывает. Изловчившись, старуха попадает своею

сухой, но тяжелой ладонью по внучкиному задку, и тогда Устиновна ревет по-настоящему, громко, с удовольствием.

Выждав, старуха произносит удовлетворенно:

— Обедать пора!

И будто ничего не случилось, она гладит внучку по голове, девочка обнимает старуху одной рукой за ноги, и они идут в избу.

Насколько изба ветха и непрigлядна снаружи, настолько добротна и аккуратна внутри — явный признак отсутствия в семье мужских рук. Некрашенные полы из широких досок здесь моют с песком, который растирают голиком — огрызком веника.

У порога старуха снимает лапти, а Устиновна ненадолго встает босыми ногами на влажную тряпку.

Накрыв на стол, бабушка за руку подтаскивает девочку к переднему углу, где друг над другом сбились в кучку потемневшие иконы.

Устиновна знает, что вслед за бабушкой надо прикладывать три пальца сначала ко лбу, потом к животу и к плечам. А самое интересное — поклоны. Кланаясь, девочка старается как можно громче стукнуться лбом об пол.

Увлеченная молением, бабушка и на этот раз ничего не заметила.

Есть у девочки еще одно развлечение: она не просто прикладывает пальцы, когда молится, а почесывает ими лоб, живот, плечи... Смешно!

После обеда они ложатся на полу, постелив старый тулуп, и бабушка начинает рассказывать про бога. Каждый раз Устиновна засыпает при первых же словах...

С нетерпением ждет девочка вечера, и чем ближе он, тем чаще выбегает она за ворота.

Мать приходит уже в темноте. Устиновна прижимается к ней, чувствуя, какая она большая и горячая, сильная. Дочь старается удержать ее на улице, чтобы мать не входила во двор. Мать и сама не торопится. Долго стоят они перед воротами. Вздохнув, мать подхватывает Устиновну рукой под коленки и несет.

Старуха ждет их на крыльце и не говорит, а шипит:

— Пришла, шушера...

Мать улыбается виновато.

Устиновна показывает бабушке язык. Она не любит старуху только за то, что та свирепеет при одном упоминании имени своей дочери. Детский ум Устиновны не может разобраться в том, почему большая сильная мать покорно переносит все обиды.

А старуха ворчит и ворчит:

— Блудница... распустила вожжи... бойся бога-то... держи себя... не охоться...

Лишь изредка мать отвечает:

— Нету бога, значит, и греха нету.

— А это? — И Устиновна чувствует в темноте, что бабушкин палец направлен на нее. — Грех! Молись...

Мать лежит рядом с Устиновной на спине, раскинувшись будто на поле, и все ее жаркое тело дышит.

— За что она тебя? — спрашивает Устиновна.

Но мать не отвечает — спит. Грудь ее тяжело и плавно вздымается, словно камень лежит на ней.

Ничего еще не понимает дочь и — счастлива поэтому. Не знает даже, почему бабушка зовет ее Устиновной, хотя по документам она Петровна.

В страшные военные годы, когда в деревне не осталось ни одного мужика, появился здесь однорукий солдат Устин. Дело прошлое, чего греха таить, оставил он у нескольких вдов и девок по ребенку и исчез куда-то.

Вот и звала старуха свою внучку Устиновной, хотя родилась она после войны и был у нее отец — городской шофер, приезжавший в колхоз на уборочную.

Ничего он не обещал Арине, ничего даже и не говорил более или менее подходящее для таких случаев, просто останавливал грузовик ночью во дворе, ел, пил, а утром отправлялся в путь.

В город он уехал не простившись.

Кабы плакала Арина, кабы жаловалась да прокляла бы себя вместе со своим грешником, да рублей бы на божьи свечи не пожалела, молчала бы тогда старуха.

Арина же гордо живот носила, улыбалась.

Когда родилась Петровна, старуха кричала:

— В руки не возьму! Грех! Отсохнут руки-то!

— А чего? — будто и не понимая, спрашивала Арина, ласково подставляя большую налитую грудь к маленькому личику дочери. — Чего? Человека родила. Рази грех — человека родить?

— Грех!

— Не-е... еще рожу... мальчонку рожу...

— От кого?

— А хоть от кого. Все одно мой будет. —

И даже в голосе ее было это желание, будто и не мучилась муками, будто и не ведала, что грешит, а доброе дело делает.

Полюбила старуха внучку, но не рада была своей любви: с укором смотрели потемневшие лики святых, молчали, пугали. Ох, недовольны были!

Однако совсем было свыклась бабушка со своим горем, но опять Арина стала лочами уходить из дому, возвращалась под утро и напевала весело.

Увела она как-то дочь в огород, прижала к себе, выдохнула теплым голосом:

— Братик у тебя будет... хороший такой братик...

— Когда?

— К весне. В сельпо куплю.

Вот и ждала Устиновна мать, засыпала, но сквозь сон слышала песню и просыпалась.

Скрипела дверь.

— Бог-от видит! — кричала старуха.

— Нету для меня бога, — радостно отзывалась мать, — нету. А если есть, плевала я на него. Живая я. На — пощупай, какая.

— Тьфу!

Арина громко и хорошо смеялась, говорила напевно:

— От моих грехов люди родятся. Рази плохо это? Спроси-ко у них. — Она показывала на иконы и снова смеялась.

— Из дому уйду, — старуха стучала костлявыми пятками по полу, — прокляну...

...Арина опрокидывается на постель. Устиновна шепчет:

— А почему в сельпо братика родить будешь? Боишься здесь?

-- Не боюсь. Могу и здесь. Спи, Петровна.

— Умру вот, — бормочет старуха, — в сраме умру...

— Все порем, — сонно отвечает Арина, — а они жить останутся... Спи, спи, Петровна.

И Петровна крепко и сладко засыпает, положив голову на большое мягкое плечо матери.

Казалось, на всей земле сейчас была знойная, душная, как здесь, тишина, будто и звуки, даже стрекотание кузнечиков, высохли и осыпались в густые травы.

Но они, густые травы, полные сил, не клонились под плотной жарой, стояли прямо. Высохло и поникло лишь то, что потеряло близкую связь с землей.

Разморенная, усталая — сегодня второпях, через силу, боясь непогоды, докосили самый дальний луг — Серафима не стала ждать машины, одна зашагала в деревню.

Да и надо было ей сегодня подумать кое о чем, и чтоб никто не мешал думать-то...

Кофта на спине скоробилась от пота, высохшего под лучами палящего солнца. Босые ноги со вздутыми венами больно отзывались на каждое прикосновение к тропинке. Юбка облепила колени, и шаги давались неловко, а от этого тело казалось тяжелым и неповоротливым, не бабьим будто.

Хорошо бы — скинуть одежды да по траве бегом... Серафима до того явственно представляла себя летящей по лугу — огромными шагами — каждая клеточка тела охлаждается воздухом, — что придержала нелегкие груди руками, чтобы не мешали.

Она сорвала платок, и толстая коса упала на спину. Сразу быстрее зашагалось, словно груз поудобнее взяла.

Серафима тихонько запела. Слов у песни не было, да это и не песня была: просто из души что-то вырывалось, не ожидая, когда в уме возникнут подходящие слова...

Усталость понемногу если и не пропадала, то становилась до того привычной, что уже не замечалась, и женщина шла, умиротворенная, сощутив, почти закрыв глаза, потом бросилась с дороги далеко в траву, припала к земле щекой. Дурманящим, вперемежку жарким и прохладным ароматом дышали травы, живым — живые в этой суши. С каждым глотком воздуха в тело проникала и копилась там блаженная истома. И совсем недавнее желание остаться одной, чтобы подумать о своей жизни, Серафима забыла, опрокинулась лицом к солнцу...

Смутная радость бытия, неясное, неуверенное ощущение счастья и тут же острая, толчками, тоска по неведомому звали Серафиму подняться на ноги и брести куда глаза глядят. А она лежала, не двигаясь, прислушиваясь к самой себе. Радостно было оттого, что живая она вся и большая, что вот солнце прямо в лицо... тоскливо же — не будем говорить отчего... сил в ней, предположим, больно уж много, девать их некуда, ворошатся они в душе, бередят ее, смущают, зовут куда-то, и — нету покоя. Серафима села, переждала, пока горячая тяжесть из головы стечет в плечи, встала, потянулась, машинально начала закручивать косу, в которой запутались стебельки трав и лепестки цветов, уложила ее вокруг головы,



завязала платок по самые глаза, шагнула в сторону леса и знала уже, уловила тайный зов души... Так с ней часто бывало: безо всякого вдруг повода почувствует Серафима себя, как будто переполненной до краев, шевельнуться нельзя — расплещется все, но и на месте оставаться нельзя — тянет, прямо тащит ее куда-то, и она медленно, осторожно уходит — уносит себя, бродит по лесу или полю, или в лугах, словно все дороги запомнила... Бродит она, плутает, прислушиваясь, что возьмет в ней верх — тоска или радость: нет, ощущение счастья не терялось, хотя временами и растаивало, оставляя в душе пустоту, но, возвращаясь, тревожило, соседствуя с тоской...

Домой Серафима приходила виноватой, смотрела устало и рассеянно, словно вспоминая, где же это и зачем же бродила.

Семен которое-то время разглядывал ее, усмехаясь не по очень-то доброму, говорил:

— Нагулялась, значит. — Лицо у него оставалось безразличным, а голос заметно твердел: — Тогда я так считаю. Воды в баню натаскать надо. Да и бочка в огороде чего-то пустует. — И еще, будто учетчик, нудно перечислял несделанные работы.

Серафима брала ведра, коромысло и шла к реке.

По бабьим понятиям, Семен был хорошим мужем: выпивал мало и редко, без удовольствия, оттого и дружков у него, можно считать, не было, за рублем на виду у всех не бегал, но умел перед праздником съездить в город с бочкой соленых огурцов или капусты, — глядишь, обратно везет жене капроны-нейлоны и разные там разности.

— Балуешь бабу, — с неодобрением или завистью говаривали ему. — К чему? Не дикторша по телевизору ведь она у тебя.

— Ага, — соглашался Семен не то насмешливо, не то чуть зло или даже серьезно. — Это, чтоб другой кто не баловал. И по телевизору, может, придется об успехах нашей сельхозартели выступить.

Недеревенский он был человек, хотя здесь родился и все, конечно, сельские работы знал; а вернулся из армии, и сразу обнаружилось: дескать, ненадолго я сюда завернул, поживу тут у вас — окажу вам такую милость — и снова в город. Но не уехал: старая мать очень хворая была. Вот пять лет скоро, как похоронили ее, и Семен через два дня на третий бросал:

— В город-то когда?.. Серафима!

Она каждый раз отвечала вопросом, необходимость которого сама понимала:

— А чего нам там?

А Семен охотно переспрашивал, будто только и ждал такого интереса:

— Чего нам там? — и начинал объяснять в который уж раз одними и теми же словами: — Житье, я так считаю, в городе легкое. Я в завод, ты — в торговые сети, предположим. Отробили свое и гуляем себе по асфальтам с газонами. На автомобиль можно скопить.

— Непривычные мы, — вяло возражала Серафима, уже мучаясь ненужностью произносимых ею слов. — Вот как городские на нашу жизнь переделаться не способны, так и мы...

— Поедем, поедем, поедем, — на разные лады повторял Семен. — Ничего меня здесь не держит.

Разговоры эти он начинал как бы мимоходом и вроде бы не настаивал, но каждый раз Серафиму охватывала долгая тревога.

Тревога же и заставляла ее перебирать свою жизнь, искать в ней каких-нибудь ошибок, что ли, несуразностей, оплошностей. Жизнь как жизнь. В кино такую и показывать неинтересно... Раным-рано вставала Серафима и до ночи спины не разгибала. Работу она любила всякую. Вот даже воду носить с-под горы. Объяснить она не умела, что это с ней происходит, но бралась за работу, предчувствуя что-то неожиданное. Такого, конечно, не случилось, но тяжелые ведра с водой оказывались живыми, и Серафима всем до острой тяжести напрягшимся телом успокаивала их, чтоб не раскачивались. Коромысло сливалось с широкими ее плечами, и будто оно само оплетало плечи и руки, а не руки его. И не просто ноги упирались в землю, а она — земля-то! — стелилась под них, вроде бы тоже работала. Все живое растет, все живое работает. Рост — это и есть работа... И каждая косточка в теле, каждый даже самый маленький мускулок жили.

И часто думалось Серафиме: всю бы жизнь уставать вот так, как сейчас — то ли от работы, то ли от радости, что работа пока легко дается...

Первую такую радость она испытала давно, когда еще Симкой была.

Зима пришла снежная, хорошая. По всем приметам впереди был урожай, но как протянуть до зеленой травки хотя бы... Положение-то с кормами — аховое. Ни разу, правда, не случилось, чтоб их не привезли на фермы к сроку, но в том-то и беда, что случиться это

могло со дня на день, и привозили кормов-то в обрез... А тут и это грозило сорваться, тогда и объясняй скотине, что есть надо в меру, и только солому...

Симка сидела в правлении за печкой, грелась и сладко млела от тепла и полудремоты,— только что за восемь километров притащилась из школы, где после уроков еще краковьяк к смотру разучивали,—временами почти засыпала, но вздрагивала и прислушивалась, как скандалят с ее отцом, председателем, колхозники.

Потом ввалилась целая компания, промерзшие, злые, уставшие, лучше не тронь. А у Степана Ивановича именно к этому времени и кончилось терпение.

Слово за слово — разматерились на чем свет стоит.

На фермах ни килограмма кормов, все подскребли. Сено возили по глубокому снегу, по сверкающей целине.

— Жилы-то рвутся! — кричали бригады. — И у нас, и у скотины!

— Жалеть надо! И нас! И скотину!

Выкричались, замолчали. Дымили сигарками, рассуждали уже степенно, обстоятельно: не впервой выкручиваться-то.

Вокруг в полях была закопана картошка, да не поставили вешек в свое время, прикинули вроде бы с научной точностью: к весне, не раньше картошка понадобится, когда снег осядет.

И вот сейчас чесали затылки. Богатство, спасение лежало под снегом, а где, в каких местах? Какой дурак согласится в чистом поле ковыряться?

— А коровушки-то есть хочут, — сказал кто-то ехидно, — и свиньи, будь они неладны, мордами-то в корыто тыкаются.

Степан Иванович долго ждал, надеясь, что кто-нибудь вспомнит о картошке. Но все, словно сговорившись, толковали о чем угодно, только не о ней.

— Картоха-то есть, — сказал Степан Иванович.

Вдруг один из бригадиров в крике ответил за всех:

— Никто не пойдет! Не найдешь дураков!

— Дураков искать не стану! — тоже криком ответил председатель. — Чего их искать? Они завсегда на виду! И базланят еще! А умных вот поискать надо. Без вас найду.

Ругались не потому, что не понимали или не хотели, а просто по крестьянской привычке не могли не поерепениться до поры до времени, чтоб потом вроде бы милость руководству оказать: дескать, ладно уж, согласимся уж, выручим уж... И Степан Иванович знал о такой привычке, сам таков был, а тут послал всех подальше, обозвал всяко — и остался один.

— Чего это ты? — удивилась Симка. — Покричали бы и...

Отец, соглашаясь, кивнул и объяснил:

— Нерва у меня слабая стала. Особенно на животноводство. Да и неволить их тоже нельзя. Я виноват, мне и отвечать. А к утру кормов... почти нету. Припрятано у меня в одном месте, да этого маловато. Ну пошли. Утро вечера сознательнее.

Сестры Симкины собирались на вечеринку.

— Давеча я вам про картоху говорил, — словно между прочим да о каком-то пустяке

сказал Степан Иванович. — К утру найти надо. Такова задача.

Дочери до того громко заголосили, что мать — Манефа Алексеевна прикрикнула:

— Полоротые!

— Кто пойдет? — спокойно спросил отец.

То ли Симка принаряженных сестер пожалела, то ли угрюмого, всегда усталого отца, то ли обеспокоенно смотревшую на всех мать, а скорее всего поняв, что отец в случае чего пойдет сам, но негромко, почти неожиданно для себя ответила:

— Ладно, тогда я.

Одевалась она долго, уже со страхом думала: на что согласилась? Темень, мороз. Вместе с тем в сердце теплилось что-то радостное, даже игривое, неуловимое, — чего бы это?

Выйдя за деревню, Симка встала на широкие короткие лыжи. За ней волочился пучок тоненьких жердочек, привязанных веревкой к поясу.

Мела поземка.

Под лунным светом снег был с голубым отливом. Симка ни разу не видела живого моря, но сейчас ей подумалось, что оно, верно, похоже на это поле. Она даже физически ощутила его глубину; казалось, что она идет по-над бездной, как по застывшему морю.

Ветер продувал Симку насквозь, добирался до самых закрытых мест, и только ступням в шерстяных носках да под животом было жарко. Она подумала, что надо бы повернуть обратно, тогда лицо оттаяет, а потом пойти бы в ту большую избу на вечеринку, в уголке бы с кем-нибудь из парней посидеть; ухаживать за

ней, конечно, никто не будет, без нее девок хватает, а все одно голова там кружится...

Бессмысленной и обидной показалась затея искать в море крупинки песка.

«Дура я, дура! — чуть не крикнула Симка. — Всю-то жизнь я дура!»

Ей захотелось замерзнуть, околеть, как пронеслось в голове, чтоб пожалели потом, кого в поле ночью послали...

Ветер, дернувшись несколько раз, вдруг утих. Симка вытащила из пучка жердочку и воткнула ее в снег; прошла несколько шагов, снова воткнула жердочку. Пусто...

Хрустел под лыжами наст.

В голове, в висках стучало.

Почему вот опять на трудное дело пошла она, Симка, а не старшая или средняя сестра? Им погулять охота, да и надо. Их кавалеры ждут. А у нее кавалера нету. И не будет. Никогда... Поплакать бы сейчас в самый раз, но снова ветер задул в лицо. Отца ей жалко — он бы пошел сам. Он такой. Тогда бы Симке было стыдно...

Тут она вспомнила, что голодные коровы сначала мычат удивленно, а потом — жалобно, обиженно, нудно, а потом вроде бы даже тревожно, а под конец — нехорошо как-то... и глаза нехорошие у них, неживые будто.

Симка остановилась и прислушалась. Неведомая, пока еще едва ощутимая сила шевельнулась в ней и повернула ее чуть влево. Пройдя несколько шагов, Симка, разгоряченная надеждой, боясь поверить радостному предчувствию, не сразу взялась за жердочку. А жердочка стала тяжелая, а руки — слабые.

Еще помедлив, Симка проткнула жердочкой наст, прижавшись к ней щекой, и... упала в снег; перевернувшись на спину и заплакала. Лежать было приятно, но она всунула ноги в ремешки лыж, кое-как поднялась.

Сзади подкрался страх, Симка бросилась от него дальше в поле. Страх не отставал, словно выбирал момент для удара. И ей подумалось, что пока она бежит, страх ее не нагонит, но если она остановится, страх сожмет ей сердце и проморозит ее всю насквозь. Симка остановилась и едва не закричала, потому что страх сразу же охватил ее и острым холодком начал проникать в сердце. Она оглянулась, прошептала испуганно:

— Срамота... трусиха...

Она сунула шубенки за пояс, дунула на ладони и резко воткнула жердочку в снег. Жердочка уперлась во что-то твердое.

...Домой Симка вернулась, когда родители давно уже легли, а сестер дома все еще не было.

— Ну? — спросил отец, и она уже знала, что после ее ответа он встанет, сядет у печки, покурит. — Сколько?

— Шесть.

Отец прошел до печи, закурил, сказал:

— И то ладно.

Симка хлебала щи прямо из чугунка, даваясь, и вся дрожала от радости, будто вернулась с вечеринки, а там за ней здорово ухаживали, ну прямо как за ее сестрами, и такого ей наговорили, что до сих пор все тело горит...

Она забралась на полати и вскоре уже спала, громко и весело посапывая...



Серафима шла по лесу истомленная и зно-  
ем, и усталостью, и тоской; отдыхала на ходу,  
ненадолго опираясь руками о стволы берез.  
Лесная прохлада никак не могла пробиться  
сквозь ее разгоряченную кожу, казалось из-за  
того, что и тоска тоже жаркая, вроде бы везде  
она даже снаружи...

Нет, нет, чего-то Серафима в жизни по-  
терjala, внедогляд обронила, сначала и не  
заметила, а сейчас поди разберись, чего недо-  
стает.

Может, с девичеством рано рассталась? Не  
успела толком подождать, погадать, посомне-  
ваться? Или просто испугалась: этого прово-  
ронишь, а другого вдруг не будет? Ведь до сих  
пор мало мужиков в сельской местности. Ка-  
жется, вроде бы и должно их хватать, а нет.  
Город их как болото засасывает. Вон Зойка-то  
Полыгалова красавица какая была, на всю  
деревню слышно было как она над ухажерами  
насмехалась, выбирала да выбирала, который  
наиподходящий, а опомнилась, когда в ее сто-  
рону мало кто и смотреть желал. Вот и пош-  
ла в чайную официанткой, к водочке при-  
охотилась да еще кой к чему. И — нету  
девки...

Семен на Симу воздействовал самым быст-  
рым образом, не ухаживал почти нисколечко,  
два раза сводил в кино, один раз на танцы и  
заявил без подготовки:

— Жениться нам надо, я так считаю.

Она и ответить не собралась еще, а он  
далее:

— Такую мы с тобой счастливую семейную  
жизнь организуем, что ахнут все. Ну?

— Не запряг еще нукать-то, — испуганно

отозвалась Сима и, повременя, убрала его знающие руки.

— Запрягу, — весело и необидно пообещал Семен, и руки его опять принялись за свое приятное дело. — Ну?

Еле вырвалась Сима, рассердиться хотела, ждала, что рассердится, а — обрадовалась, но убежала, долго еще чувствуя, как горели места на теле, к которым он прикасался.

И чего бы еще надо?.. А некоторое время Сима пыталась перебороть себя, хохотала, как подружки научили, ему в лицо, посмеивалась: дескать, зря стараешься, парень. Он же просто все знал наперед, и она видела, что нисколько и не сомневался: приятность даже испытывал, что не сразу полакомится... Чего же смущало ее? Что останавливало? Бог ростом и всем телом не обидел, а маленькая — рядом с Семеном. Боится она его, но не прямым страхом, обыкновенным, а тем, что потом, через сколько-то лет придет. Это, верно, потому, что как увидела его после армии и не успела еще ничего испытать к нему, а уже поняла — судьба он ее.

Тут она заметила, что подружки-то зря времени не теряют — приспособливаются к Семену, действуют. Сестры, обе уже замужние, про все дела забыли: младшую консультировали, опытом делились.

У нее же смута в душе. Их с Семеном женихом и невестой считают. Девки и бабы завидуют Симе, парни и мужики — Семену. Да и понятно: пара на загляденье.

— Долго еще? — словно мимоходом, но деловито интересовался он. — Вишь, какой я терпеливый? Думаешь, еще долго так-то могу?

Надо нам закругляться с этим вопросом. Я так считаю.

От судьбы не спрячешься...

Было в верстах семи от деревни озеро Лесное, его еще и Девичьим прозвали. С давних времен то забывалась, то снова начинала ходить о нем сказка: если подглядит за девкой при купании парень, а купались в озере только голышом, нечего тогда ей о счастье беспокоиться: само оно ее с этим парнем отыщет. Парни, конечно, бегали на озеро, прятались в кустах, изъеденные комарами и паутами, но разве угадаешь, когда девки купаться придут? Вот и не было такого случая, чтобы хоть кому-то повезло. Однако купание в Лесном, к тому же связанное с явным риском быть осмеянной, отдавало чем-то греховным, заманчивым, острым и — тянуло.

Пришла Сима на ферму, сказала:

— Кто со мной на Лесное? Может, последний раз девкой обмакнусь?

По тропинке в лесу шли медленно. Впереди — безрадостная Сима.

— Счастливые, — вдруг выдохнула она. — Жалко мне с вами расставаться, поверить не можете!

В ответ раздался хохот, принужденный, правда, и голоса:

— Оставайся! Никто не гонит! Куда торопиться! Просто так, для гигиены скупнемся давай!

И снова невесело посмеялись, а у Симы и на невеселый смех сил не хватило.

Застыдились девки, когда впереди блеснула гладь озера. И хотя знали они, что на несколько километров вокруг не найдешь сейчас ни

одного человека, раздеваться было страшновато. Они скинули одежды, замерли от непривычного ощущения своей наготы, — не баня ведь здесь, а природа...

— Стойте, стойте... — шептала Сима, — не торопитесь... авось чье-то счастье из кустов зенки пялит.

И — разом все, с визгом, подавившись дыханием, бросились в озеро. Не скоро вода охладила разгоряченные тела.

Дальше всех заплывала Сима — до другого берега, еще вдоль него не спеша проплыла, и силы стали уходить из нее: зря старалась, не сбылась сказка в самом начале... ну и не надо!.. Перевернулась Сима на спину, отдыхала, полузакрыв глаза, вздыхала глубоко и увидела в кустах Семена; стоит наблюдает, покуривает, улыбается.

Вскрикнуть даже не смогла Сима, визга даже не получилось, нырнула она, захлебнулась от стыда и обиды...

Подружки ждали ее уже одетые, а она боялась выйти из озера, сидела у берега на корточках, отдышаться ей требовалось.

— Водяной поблазнился, — прошептала она, пытаясь рассмеяться, а перед глазами Семен: улыбается, сигареткой попыхивает, в нее смотрит, в Симу...

Вечером она боялась выйти к нему. Он же сидел за воротами, посвистывал.

Манефа Алексеевна сказала:

— Спровадь давай его или с ним посвистывай, — и вытолкала дочь из избы.

А Сима глаз поднять не могла, стояла перед Семеном, ровно тогда, на берегу, горячая вся была, а знобило, да и стыдно еще...

— Ну? — спросил он и, подождав совсем немного, ответил: — Согласна, я так считаю. Поломаться тебе самую малость осталось. Ну?

От него хорошо пахло табаком и им самим. И — пропади все пропадом... На ласки его она еще не отвечала, но уже не противилась.

Ночью, растеряв сон, Сима сидела на крыльце, иззябла вся, думала почему-то о том, что глаза у Семена маленькие и глубоко в лицо вделаны, откуда-то издалека смотрят, не поймешь сразу, чего они выражают, чего тебе сулят...

И еще ей думалось, что, может, и не Семена она остерегается, а бабьей доли. А доля эта, куда ни повернись, со всех сторон одинаковая.

Выросла Сима в среде, где на всю жизнь смотрят простодушно, откровенно; судила о своих потребностях и обязанностях по-женски, а не по-девичьи, и знала, конечно, и в подробностях представляла, какая трудная начнется после свадьбы жизнь, навсегда трудная; в деревне, как говорится, за редькой и то нагибаться надо, а дети только после десятого сами растут и заботы не требуют...

Немного не угадала Сима свою замужнюю жизнь. По хозяйству дружно работали в четыре руки, да и не уставала она особенно, обязанности еще не вошли в нудную привычку, а отдавали новизной. Пять годов пролетели незаметно, троих дочерей родила Серафима. Рожала она легко, тело ее мало изменилось, пополнила только, да и то в местах, к этому предназначенных,

Бабушка с печи накаркала:

— Недоброй у ты муж-от.

— С чего это ты? — будто бы насторожилась Серафима, хотя давно ждала подобного упрека от кого-нибудь.

— Равнодушнай какой-та.

— Да говори, бабушка, не тани.

— Говори, говори... Да-к мужик, а на мужика не похожай, — опять загадкой ответила старуха.

— Мухи, видать, тебя обкусали, вот и злишься, — огрызнулась Серафима. — Мужик как мужик. Еще получше других.

— Не-е-е... Че это? Не пьет. Не гулят. Не побил ты ни разу. Одно дело — робит...

— Ну и хорошо.

— Хорошо-то, хорошо... Да не наш он. Не деревенской.

Права была бабушка. В общем.

А вчера Семен сказал незнакомым голосом:

— Осенью в город переберемся. Без разговоров. Дом я подыскал. Место хорошее. Трамвай и автобус ходят. Вода рядом. Школа недалеко. Баня. Кино. Огород — как раз нам хватит, без надсады.

И Серафима поняла, что на этот раз он не предлагает, а приказывает, и ответила неуверенно, вся сжавшись:

— Не поеду я... и не думай.

Он проговорил спокойно, даже равнодушно:

— Поедем. Здесь нам делать нечего, я так считаю. Хватит.

Сима видела — старался, изо всех сил старался привыкнуть.

— Не получилось. С души воротит. Понятно? — в голосе его зазвякало что-то похожее на злобу. — Нам не тысячу лет жить отпущено. А пожить охота...

Из леса Серафима вышла неожиданно — подняла голову и глаза от солнца закрыла, прислонилась к холодному стволу березы, обняла его.

По плечам проскользнул холодок. Неохота домой. Чего она там Семену скажет? Уж побил бы, что ли, может, и поняла бы чего-нибудь. Не побьет... Серафима усмехнулась, но усмешка замерла на половине. Чужой он стал какой-то, и случилось это незаметно. За спокойствием его и уверенностью разглядела она равнодушие и самоуверенность; и подарки, и даже ласки — как она долго не замечала? — отдавали чем-то обидным: дескать, обрати внимание, сколько я для тебя стараюсь, цени это. Во всем его поведении присутствовало что-то привычно деловитое, будто за все он собирался деньги получать... И вот мусть какая: чем больше примечала Серафима в муже чужого, неприятного, тем сильнее тянулась к нему, воспринимая его поведение, как беду...

Сказать, что муж не любил ее, она не могла. А она его?

Помнится, до ночи в правлении телевизор смотрели, чего-то там про иностранную любовь показывали не очень и понятное, но жалобное — не оторвешься.

Серафима первой заметила, что мужа — те и выпить успели, и про любовь зарубежную посмотрели и посмеяться тут же время нашли, а жены так просто урехались все, взъелись на

мужиков своих в том смысле, что не видели от них любви-то такой вот, какая у этого гражданина в телевизоре была, и браги требовали.

Мужики даже протрезвели малость, давай жен успокаивать.

— Какая така любовь тут может быть в сельском-то хозяйстве? — миролюбиво спросил Степан Иванович, привыкший за многие годы председательства говорить первым. — Я вот не успел толком побегать молодым, а сразу — пахать, сеять, убирать. Отвоевал и опять — пахать, сеять, убирать. Некогда, товарищи бабы, некогда заниматься нам с вами всякими там этими... ну... сами понимаете, сознательные.

Манефа Алексеевна, крупная, громкоголосая, в пятьдесят с лишним лет не утратившая охоты поплясать, повыкрикивать с повизгиванием частушки под гармошку и перестук каблуков, словно не замечавшая в работах и заботах своего возраста, сказала:

— Не все же ночи пахать, сеять, убирать.

Хотели все посмеяться, да не получилось. Тогда Степан Иванович строго и важно, как доклад на отчетном собрании, начал:

— Наша жизнь трудна, но почетная, товарищи. Она...

— Не на правлении ведь, — вдруг перебил Семен. — Ты вспомни, как другие живут...

— Это про кого?

— Все одно людей в город тянет. Тех, которые поумнее.

— И ты бежи! — чуть ли не рявкнул Степан Иванович. — Сматывайся! Глаза у тебя на тракт косят!



— Уедем, уедем, не беспокойся, — угрожающе пообещал Семен.

И ушел.

Серафима не пошевелилась.

Через которое-то время Манефа Алексеевна сказала:

— Иди давай. Позлила мужика, и хватит.

— И не злила я, — тоскливо отозвалась Серафима. — А чего вот мне делать прикажете, если он в город давно собрался? И дом там присмотрел, а потом, говорит, и квартира будет... со всеми удобствами.

Загудели тут односельчане, кто за Семена, кто против, а Степан Иванович разорался. Дескать, а кто велел такого в мужья выбирать? Уж лучше бы в девках оставаться да хоть в разгул, чем...

Манефа Алексеевна выждала, пока у него в горле пересохло, и заговорила, когда он взялся за стакан:

— Ты бы хоть единова не орал, а прикинул, что к чему. Потолковал бы с ним. Дело-то ведь серьезное.

Когда Серафима пришла домой, муж не храпел как обычно, а мурлыкал почти, радостно так спал, будто жена под боком. И до того ей не захотелось даже прикоснуться к нему, что она, раздевшись, долго сидела на табуретке, пока не замерзли ноги; не успела в темноте до кровати дойти, как озябла вся. Тело-то у нее большое, холоду в себя много взяло, пришлось ей на печь забираться, отопреться. Потом Серафима тихонько перелезла через Семена, спиной прижалась к стене, а он привычно искал правой рукой жену, мурлыкал почти, а

не храпел, как мужику после выпивки положено.

Серафима — не зареветь бы! — вдоль стены отползла, колени поджала и — заплакала. И стыдно ей было неимоверно, надо же до такого довести, чтоб не хотела своего-то... Да не дал муж поплакать вдоволь, к обязанностям склонил, черт...

Утром он грубо сказал:

— Разговаривать со стариками об этом больше не будем. Я так считаю. Чего гусей дразнить? Просто уедем. Документы вот только бы оформить.

— Да не поеду я! — вдруг вырвалось у Серафимы. — Да ни за что не поеду! Отца с матерью не брошу! И хватит тебе! И кончай эти разговоры! Не поеду!

Семен не ответил. Не счел нужным.

...Вот и жалась сейчас Серафима к березе, больно жалась к холодному стволу, будто надеясь, что прикосновения эти отвлекут ее; о чем бы угодно думать, только бы не о том, что словно каленой занозой засело в затылке... Зачем со мной так? Живут же люди обыкновенно, и я так хочу, а не получается. Любую, верно, из деревни в город помани из молодых, конечно, и уговаривать не придется, поревет немного — для родителей, подмигнет подружкам и... А я не могу, не могу я... Или от телевизора все это? Пока его не было, жить проще было. А в нем столько интересного показывают, что иной раз страшно вато делается: жизнь-то, оказывается, какая большая и разная!.. И чего только на земле-то не происходит! А как домой после телевизора придешь, думать надо, вспоминать. И про себя, и про мужа, и про де-

тей, и про всю жизнь... Но ничего не успеешь придумать, спать надо — вставать-то чуть свет да и за работу. Права у нас с мужем, конечно, одинаковые, но обязанностей у меня больше... Вот задумал сейчас мне жизнь поломать — и поломает, не беспокойтесь! И ничего мне тут не придумать... Опять же правильно говорят, что жизнь куда лучше стала. Кой-кто в деревню возвратился. Хор свой завели в новом клубе. Лекторы ездят. Кино каждую неделю. Специалисты с образованием появились. И все одно — город где-то там маячит, утягивает к себе...

Лет десять, что ли, назад, приезжала к ним тетка, городская материна сестра... Нет, не десять, а поболее лет назад...

В день приезда Манефа Алексеевна повела сестру в баню, шепнула на всю избу:

— Девоч моих посмотришь.

Она предложила это с такой же гордостью, с какой потом приглашала (но сестра не пошла) смотреть живность, что и покорило городскую родственницу и о чем она и заявила вслух.

— А чего? — невозмутимо отозвалась сестра. — И то живое, и это. Хозяйство. — И сама смеялась своей шутке.

Трое дочерей ее — рослых, налитых молодостью, здоровьем, избытком женственных сил — с деревенской откровенностью подшучивали друг над другом, хлестались вениками, хохотали, пронзительно визжали, вскрикивали — как под ножом, охали, ахали, кричали. Когда же они устроили на полке возню, мать разогнала дочерей крепкими шлепками, приговаривая весело:

— Замуж вас, дур, надо, — замуж!

— Хоть сейчас! — крикнула старшая, схватила мать в охапку и опрокинула на полок. Манефа Алексеевна сама разыгралась и не успокоилась, пока сестра не сказала:

— Пора домой. Устала я. Да и не угореть бы.

Девушки сидели в предбаннике красные, разомлевшие, примолкшие, исподтишка разглядывая тонюсенькую тетку, которая рядом с ними походила на девочку.

— Чего вытаращились? — весело спросила мать, которая тоже не торопилась одеваться. — Брысь отсюда!

Симка осталась помогать матери.

— Ведро кваса сейчас выдуют, — с гордостью сказала Манефа Алексеевна. — Едят как лошади. Соков набирают. Симка, не слушай! Не девки, а прорвы. Э-э-эх! — она похлопала себя по широким крутым бокам. — Больно уж худа ты, Глаша. Болееешь чем?

— Нервы, в основном.

— Бездетная ты, оттого и нервы или как там... У вас кто неспособный-то?.. Чего отвернулась? Обиделась?

— Неудобно об этом... да и не к чему... теперь.

Вечерами их навещали многочисленные гости, приходили поглазеть на городскую. Телевизора тогда не было, автобусы до города и до станции не ходили и, слушая тетку, Симка дивилась: город казался местом, где все создано только для того, чтобы доставить человеку удовольствие или развлечение.

Отец уходил из дома еще в темноте, возвращался ночью. Иногда он приносил бу-

тылку водки, и они распивали ее вдвоем с женой.

— Зачем ты это делаешь? — спросила Аглая Алексеевна.

— А чтоб ему меньше досталось, — просто-душно объяснила сестра. — Ему пить-то не очень... можно. А мне все одно, что воду, что водку. И не пьянею, и здоровая. Девки-то в меня. Вон какие богатырки.

— Почему же ты не запретишь ему совсем выпивать?

— Мужик ведь он. Да и работа у него — сама видишь. Тот хлебушек, который ты в магазине берешь, знаешь, если не забыла, как нам достается. Мы со Степаном с весны, веришь ли, до зимы почти — спинами друг к другу спим.

Симка видела, как морщилась тетка Аглая, все ее здесь раздражало, тяготило, «всякое место у нее разболелось тут», как выразилась мать, и выдержала тетка до неприличия недолго.

На станцию ее отвозила Симка.

— Приезжай к нам в гости, — несколько раз за дорогу повторила Аглая Алексеевна. — В театр сходишь. Картинная галерея у нас очень хорошая. Словом, поймешь, почему мне у вас не... очень понравилось. Странно, выросла я в деревне, а в душе от нее ничего не осталось...

Добрела, оказалось, Серафима до Лесного озера. Вон куда ее тянуло. Села она на берегу, в тени, опрокинулась на спину, задремала вдруг...

Болела голова, когда Серафима открыла глаза. Лежала она уже на солнцепеке. Но вставать не хотелось — сладко поспала, без снов. В затылке ныло, а думалось хорошо, без усилий. Никуда она не поедет. И Семен никуда не поедет. Что он детей бросит?! Да кто ему позволит?

Тихо здесь. Лес вокруг озера высокий, ветров сюда не допускает, и водная гладь, что темное зеркало. Если смотреть на нее, прищулив глаза, то и не разберешь, где живой лес, а где его отражение... Позвать надо было сюда Семена, повспоминать, авось расшевелит душу ему, оклемается она от натуги бежать в город... А вдруг у него, как у тетки Аглаи, ничего в душе не осталось деревенского? Она, Серафима, вот без этого озера жить не может, у нее из-за этого озера — семья, дети, муж. А он-то о ней как думает? Или только себя в виду имеет?

И если бы она сейчас крикнула: «Не-е-е-ет!» — эхо бы трижды повторило, с каждым разом все глуше... И вся-то любовь его, мужа-то, будто эхо что-то сначала в ней вроде бы звонкое было, а потом все глуше, глуше...

Безо всего этого, чем она живет, Семен преспокойно прожить может. Вот что! И взял-то он Серафиму за себя только потому, что рядом тогда никого пригоже не оказалось. Не уехала бы до его демобилизации Верка Антонова, ее взял бы, она бы ему детей нарожала, ее сейчас бы в город тянул... Да при чем тут город! Случись так, что жизнь в деревне легче, предположим, чем в городе станет, и Семен из города в деревню сбежит. Нету корней у него нигде. Баню деревенскую и то не уважает. В город поедет две смены белья ему подавай,

там любит мыться. А была Серафима как-то в городской-то мойке, тосковала над тазом: и воздух там гниловатый, и пар не пар, и на баб глядеть — какое удовольствие? Да и срамно как-то перед чужими-то... Вот дома-то попариться — душу отвести... Или детей своих отшоркать!.. И тело-то в нашей бане совсем другое — после первого же пару будто годы из кожи уходят, и даже кости будто моложе делаются... Эх!

Серафима плавала с распущенными волосами; выныривая, убирала их с лица; надышавшись, снова ныряла. Пришел бы, дурак, сюда со мной, наигрались бы, натешились, не то, что в твоём городе.

Она полежала в воде у берега, вылезла, когда начала зябнуть, сполоснула одежды, бросила их на кусты сохнуть. «Баба, ты баба и есть, — подумала Серафима, опять вспомнив о муже; вздохнула, оглядев себя, — лишка отросло кое-где. Так уж лучше лишка, чем псевдо-сталь»...

Хорошо ей было под солнцем. Сначала напекло плечи и меж лопатками, тогда она перекинула волосы за спину, и они, влажные, прохладные, даже заставили ее несколько раз вздрогнуть... Ничего, ничего, еще, может, все образуется.

От воды несло прохладой, и Серафима зябко ежилась под горячим солнцем, вспоминала, как она однажды очень мерзла...

Симка приехала в город рано утром. Всю ночь она крепко спала, сжав ладони коленями, лежа на верхней багажной полке, где было светло и душно.

Город оказался холодным. После вагона в туманном воздухе дышать приходилось сквозь стиснутые зубы, и даже зубы мерзли, когда губы приоткрывались.

Но Симка повеселела, вспомнив, что не напросилась в гости к городу, а он сам позвал ее.

Никак только она не могла сообразить, почему так морозко: вроде бы кругом дома большие, в них тепла много, а на улице — окоченеть можно. Перебирая в памяти наставления отца, Симка читала таблички с названиями улиц, номера домов и почти бежала, не сбиваясь с пути, будто уже не однажды побывала здесь.

Ей совсем не хотелось встречаться с теткой Аглаей, но мать очень просила остановиться у своей сестры: «Глаша-то в городе совсем захла, развесели ее, гостинцы вот передай, может, ей пищу переменить надо, да про нервы не забудь спросить».

Войдя в подъезд, Симка долго стояла, успокаивая сбитое морозом дыхание, ожидая, чтоб оттаяло лицо; вдруг она почувствовала, что трусит и по лестнице подниматься стала медленно, раздумывая, не повернуть ли обратно. У дверей она еще постояла, долго и старательно поправляла платок, проверила почему-то, на все ли пуговицы застегнуто пальто.

Стук в тишине показался ей громом, и она отпрянула от двери. Неужели до сих пор спят?! Она сняла шубенки и постучала так, что задрожал на двери почтовый ящик; послышался рассерженный, сонный голос:

— Кто здесь?

— Да я это! — крикнула Симка уже в нетерпении. — Тетя Глаша, это я!



Щелкнул один замок, потом второй, еще что-то скрипнуло, звякнуло, опять щелкнуло, и дверь открылась. Тетка Аглая в длинном полосатом халате жестом пригласила войти, повозилась с замками и лишь после этого сказала:

— У нас есть звонок.

И Симка остро пожалела, что послушалась матери. Она сразу почувствовала себя одинокой здесь, ей неприятно и обидно было, что ее почему-то жалели, и жалость эта отдавала презрением. И все дни Симка мучилась, что не может набраться решимости и сбежать от тетки жить в гостинице с новыми знакомыми.

С утра до вечера молодые животноводы были заняты: слушали лекции, заседали, ходили на экскурсии, смотрели научные фильмы, встречались с передовиками.

А как-то пришли в театр. Сначала Симке там не понравилось: она стеснялась и своего цветастого платья и новых туфель на невероятно высоких (от непривычки) каблуках, будто ходила по частоколу и иногда даже руками взмахивала, чтобы не упасть. И в то же время туфли заставляли ее держаться прямо, собранно, словно какая-то сила приподнимала и вела ее.

С удивлением и неприязнью разглядывала Сима нарядных и красивых женщин, краснела, увидев голые руки или вырез на груди.

Подошли знакомые девушки, надоумили купить мороженого, и, оказавшись среди своих, Симка повеселела.

Места у них были близко от сцены. И едва Симка оперлась о потертые бархатные ручки кресла, как в душе потеплело, по предплечьям

пробежал морозец — так бывало в детстве, когда готовилась перед сном слушать бабушкину сказку.

Темно-малиновый, в светлых складках, даже с виду тяжелый занавес, нестройные загадочные звуки инструментов, говор зрительного зала и боль в пальцах от новых туфель — все было необыкновенно.

А когда погас свет, на Симку пахнуло прохладой, и она опять как будто слушала сказку. Ни разу в жизни не видела она такой красоты, такого движения красок, не подозревала даже, что бывает такое на свете...

Утром инструктор обкома комсомола, выдававший билеты, объяснил, что будут показывать балет, то есть такой вид искусства, в котором не говорят, не поют, а только танцуют.

Сначала вроде бы все это нравилось, но танец сменялся танцем, артисты странно размахивали руками, бегали из угла в угол, неестественно таращили глаза, и Симка мучительно ждала, чтобы кто-нибудь на сцене хоть вскрикнул бы, что ли...

И стыдно было, будто голые все, видно все... Зачем так?

Сказочность, очарование исчезли.

Симка не заметила, когда что-то с ней произошло, и она, вытянувшись вперед и прижав руки к груди, слушала оркестр, вернее, не слушала, а чувствовала то, что он хотел рассказать ей, и это находилось в удивительном соответствии с тем, что происходило на сцене.

Симка поняла незамысловатый сюжет балета, поверила в него, убедилась, что не нужен здесь человеческий голос; театр завладел ею,

как он умеет завладевать неискушенными, доверчивыми, наивными сердцами.

И когда занавес медленно двинулся к середине сцены, Симка устало откинулась на спинку кресла и лишь тут заметила, что до этого все время мысленно танцевала...

Она сбежала от знакомых и, спускаясь по лестнице, обнаружила, как легко и даже привычно идет на высоких каблуках. Глядя в темное окно, она дышала громко, словно после взволнованного разговора, боясь, что кто-то может вспугнуть. Ей казалось, что за окном та самая ночь, когда Симка одна шла по полю и падала в снег. И не верилось, что сейчас, когда она здесь, кто-то работает...

Домой Симка шла неторопливо, чтобы сохранить в душе то, что она пережила в театре, а ближе к дому — почти побежала, чтоб не исчезла решимость сообщить тетке, что до отъезда будет жить в гостинице.

— Понравилось? — небрежно спросила Аглая Алексеевна.

— Очень, — неохотно, даже с усилием ответила Симка, вдруг явственно вспомнив то мгновение, когда в театре ей подумалось, что сейчас она может поверить во что угодно, хоть в черта; так бывало, когда ее, маленькую, бабушка приводила в церковь, — было тоже страшно и сладко, холодно и жарко; кругом тесно друг к другу дышали люди, а все ее существо переполнялось: неведомым...

— Словом, обслуживают вас неплохо, — сказала тетка. — Теперь ты представляешь, почему люди не хотят менять город на деревню?

— А зачем менять? — удивилась Симка. — Кому что. Мне вот домой охота, в деревню. Вам здесь лучше пришлось...

— Я не собираюсь тебя уговаривать, — тет-ка усмехнулась толсто и ярко накрашенными губами. — Я как раз согласна с тобой, что каждый волен, конечно, выбирать, где ему лучше жить и работать. Но ты моя родственница, ты мне симпатична, и я обеспокоена твоим будущим.

— А чего?

— Ты закончила всего восемь классов...

— Ходить далеко! — резко оборвала Симка. — На будущий год, может, в техникум пойду. А утром в гостиницу переберусь.

Утром тетка даже поплакала, долго отказывалась отпустить Симку, не открывала дверей. Симка молчала, потела, закутанная в теплый платок, но выдержала характер до конца: как она потом рассказывала, «отпотела свое и смылась»...

Серафима натянула волглые еще одежды, долго искала тропинку, не нашла и побрела почти наугад. Думалось вяло, равнодушно. Сколько же времени проплутала она? Ноги стали зябнуть, а сапоги она оставила на покое, наказав прихватить.

...Вот не понимает он, как ей отца с матерью жалко. Сразу, чуть ли не в один день, постарели они оба, особенно отец. Семена-то они не взлюбили с первых, можно прямо сказать, взглядов, когда он демобилизовался и начал к Серафиме приглядываться.

Да и то вспомнить: а кто в деревне к Семену по-душевному относится? Уважать — уважают, как всякого крепкого хозяина. Механик он — золотые руки. А вот друзей у него нету. Чужой он здесь, всем чужой. Потому что крути не крути, а у деревенского человека обида горькая в душе возникает, когда ему городом в нос тычут. А тут еще вроде бы свой, с хозяйством — всем бы такое, от колхозных благ заимел — и вот на тебе.

Тут ведь главное в душе, в самой ее глубине, а без души чего добьешься? И сколько их, городских, на селе прижилось? Почти никого...

И думала об этом Серафима лишь потому, чтоб о другом забыть. Что вот она вскорости мужу своему по этому вопросу выскажет? И шум уже на всю деревню, кое-кто озлился даже. А Семен — как будто все это не про него.

Вчера Степан Иванович заходил, по-доброму старался поговорить с зятем, весь свой характер будто с собой не взял, дома оставил, в глаза старался Семену смотреть, а у того в таких случаях глаза совсем глубоко уходят, ничего в них не видать. Отец вздыхал, вздыхал и признался, а по всему видно было, что делать ему это ох как не хотелось; выговорил так, будто каждое слово прямо в сердце застревало:

— Не знаю, руки опускаются... от земли бежать... детей отрывать...

— А я уж за избу задаток взял, — сообщил Семен, — и в городе задаток внес. Задерживать вы меня здесь не станете, я так считаю.

Жалко было смотреть на отца. Серафима впервые видела его униженным и унижающимся.

— Внучки, — бормотал он, — дочь... а к чему?

— Да как тебе не стыдно? — крикнула, подбежала к нему, Серафима. — Ты бы еще ему в ноги пал!

— И это не поможет, — уже нехорошим голосом сказал Семен, даже усмехнулся недобро. — В городе квартиру получу. С разностями удобствами. Со временем, конечно. И дров не надо. И вода по трубам двух сортов. Газ к тому же.

— И у нас все это будет, — жалобно и угодливо как-то произнес Степан Иванович. — Тоже со временем, конечно.

— Когда? — только тут Семен повысил голос. — И не дети мы малые, чтоб вы, папаша, в нашу жизнь вмешивались.

— Сима-то дочь мне... внучки мои... и ты нам не чужой человек. Отрываться-то зачем, а?

Семен, встретив злой взгляд жены, переборол себя и попытался довольно терпеливо повторить, что от него слышали много раз:

— Я ведь не от работы бегу. Нужна мне работа, я без работы не могу. Не мартышка я, а человек. Но мне нужна работа, которая мне подходит. Мне! А чего я тут у вас не видал?

И совсем обессиленный переживаниями, Степан Иванович ответил без надежды:

— Природа у нас...

Не рассмеялся Семен, и за это ему спасибо. Правда, губы в усмешку кривить начал. Серафима чуть ли не за руку увела отца со двора,

привела Степана Ивановича в его избу и вот там на глазах у матери разревелась.

Манефа Алексеевна молчала, будто происходившее мало ее беспокоило, потом бросила в сторону дочери холодные слова:

— Сама-то не прогадай.

— А я-то что могу? Его не отговорить.

— Тогда и поедешь. Муж он тебе. А ты ему жена.

Степан Иванович уже просто удивленно проговорил:

— Голова даже толком не работает, не укладывается в ней, никак не укладывается...

— Уложится! — обрезала Манефа Алексеевна. — Теперь уж лучше вид подать, что с нашего, как говорится, благословения все делается. Не могла раньше на мужика во всю силу воздействовать, теперь его слушайся.

До ночи Серафима и Семен ругались в сарае. Впервые муж замахнулся на нее — слова подходящего сразу подыскать не мог, вот и сработала рука, взлетела и замерла, но было поздно: испуг и омерзение Серафима успела пережить.

— Ты... это... сама напросилась, — пробормотал Семен. — Сама. Вон и мама уже, можно сказать, согласна. Все нормально будет.

— Всегда говорили, что замах хуже удара. А мать притворяется. Ей нисколько не легче отца обо мне да о детях переживать. Сердце кровью обливается, как подумаю, что мы с тобой вроде каких-то переселенцев. И отцу как с людьми говорить, если его родная дочь... — она всхлипнула.

— И мы с тобой пристаримся когда-то, — миролюбиво, хотя и с опаской сказал Семен,

властно обнимая ее — умел он это делать, метод у него такой был, — так неужто детей своих к себе привяжем?

Отвергая его ласки, Серафима говорила:

— Не поеду... нечего мне в твоём городе делать. Отца с матерью не брошу.

— Да я все организовал! — Семен начал сердиться. — За тридевять земель, что ли, уезжаем? Он выкурил торопливо, но мелкими затяжками почти целую сигарету. — Соображать надо! Я все разузнал! Про все перспективы нашей артели. Никакого газа в ближайшие десять лет твой папаша пусть не сулит. А у нас с тобой есть возможность, понимаешь, есть возможность устроить свою жизнь лучше. Кому какое дело до этого? — Семен знал, к каким местам прикоснуться надо, чтобы Серафима слушалась его, но она высвободилась рывком, тогда он как отрубил: — Не будь душой!

— Не против я твоего города, — вся сжавшись, заставила себя разговаривать Серафима. — Но высохну я там. Понимаешь? Ты-то отвык от деревни, тебе-то меня не понять.

— Да привыкнешь постепенно!

— Да не хочу! — Серафима сама удивилась решительности своего голоса, до того удивилась, что вдруг поверила: добьется она своего, но проговорила мягче, как будто для пробы: — Уж если тебя так приперло, уезжай один.

Семен дернул плечами, опять закурил, ответил:

— Одному мне уезжать никакого смысла нету. На новом месте еще и анонимку получить можно. Все испортить. Дескать, от жены и от



детей деру дал. А я бросать тебя и не собирался. Но учти...

Он замолчал, а она тщетно искала взгляда его глубоко упрятанных глаз. Они смотрели прямо в ее глаза, и — одни далекие зрачки, больше ничего, ни черта в них больше не увидишь, хоть твои собственные лопнут от напряжения.

— Больше я тебя уговаривать не буду, — вроде бы даже задумчиво произнес Семен, глядя в потолок. — Мне надоело, а тебе это во вред. Человек свою жизнь устраивать должен. И об детях думать. А не так... как вы.

— Не знаю, Семен, — тяжело выговорила Серафима, — вернее, не понимаю. Не хочу я устраиваться. Отец мой никогда не устраивался, ты знаешь. Мать всегда с ним рядом.

Семен цепко и больно взял ее за локоть.

— Дураками они прожили, это тебе понятно? Председателем твой отец был, а чего нажил? Что? Я не хочу вот так жить! Не хочу за твоей репой нагибаться! Покупать ее хочу!

...Шла она лесной дорогой, до того в тени прохладно было, да ноги еще босые, что вскоре, отдохнув от жары, Серафима прибавила шаг. А совсем ей торопиться было ни к чему. Вот скрыться бы где-нибудь, переждать, а потом уж и домой, а дома муж и дети, отец с матерью в гости пришли, и никаких таких перемен не заметно и даже не предвидится.

К избе Серафима пробиралась огородами; завидев кого-нибудь, пряталась, чтобы избежать расспросов, советов да и упреков, обидных и жестоких; но как ни таилась, углядела ее соседка, бросилась к ней прямо по грядкам, но

Серафима с неожиданной для себя легкостью перемахнула через изгородь и тут только остановилась, чтобы передохнуть. Соседка звала ее, и Серафима села в высокую траву. Огород у них большой, обихоженный, с ягодами. Сам Семен немало здесь пота пролил и вот — бросает. Значит, все рассчитал? Значит, выгодней меня с детьми бросить, а редьку в городе на рынке покупать?

Она зашла в баню, разделась, окатила лавку холодной водой, легла на прохладные доски раскаленным телом, пригоршней плескала на себя воду, вздрагивала сначала после каждого плеска, потом почувствовала, что мерзнет, и села. Лавка широкая, потолок высокий, места много, впятером мыться можно...

Серафима долго отмывала ступни ног, особенно пятки, твердые и в трещинах, старалась оттянуть то, что так быстро приближалось, отчего стало больно сжиматься сердце. Она даже подняла рукой левую грудь и растерла под ней. Серафиме показалось, что она отчетливо слышит, как гулко колотится ее сердце. Понимала она, что окончательное, бесповоротное решение в ней еще не созрело, и это-то и мучило ее.

Она долго убирала за собой неторопливо и тщательно вытиралась; уже одетая, сидела в предбаннике, чувствуя, как усталость возвращается в нее, и неохота ей бороться с этой усталостью, ничего неохота... сидеть бы вот так: Главное, девчонки-то, дочери-то, беспонятные еще, рады уехать. Им-то как доказать, их-то как убедить? Прямо вот сейчас, — иначе потом никаких сил не хватит, а то и сердце лопнет, — сейчас должна она решить... А болеть уже что-

то внутри начинает, когда она об этом думает. Придумать-то ничего нельзя! Ну, останется она здесь и не женой, не вдовой будет. А ехать с Семеном туда... не лежит у нее душа к городской жизни. Не подходят они друг другу. «Помру я там! — чуть не крикнула Серафима. — Не привыкнуть мне там!»

Растравила она себе душу до того, такая тоска навалилась на Серафиму, что требовалось завывать в голос, чтоб дочери и отец с матерью сбежали бы, чтоб устыдился муж... Она вдруг на некоторое время до того поверила в это, что встала и вышла из предбанника, но, еще открывая дверь, горько пожалела, что поторопилась, не побыла еще одна, спугнула надежду...

В огород заходили какие-то незнакомые люди — двое мужчин (почему-то оба бородастые, хотя и разных лет) и с ними длинная, плоская, в резиновых сапогах, с большим, будто испитым лицом женщина. Увидев Серафиму, она удивленно уставилась на нее цепким взглядом совиных, неподвижных глаз, спросила подошедшего к ней Семена:

— Жена, что ли?

— Она, она, — торопливо и как бы одновременно глядя на Серафиму и эту женщину — на жену почти с неприязнью, на женщину — почти подобострастно — ответил он. — Сколько можно смотреть? Все сосчитано. Передумывать все равно поздно, — сейчас Семен смотрел только на жену и уже вроде бы заискивающе. — Задаток взят...

— Лишний раз посмотреть товар никогда не поздно, — сказала женщина, и Серафиме показалось, что у нее даже и губы при разговоре

не шевелятся. — Деньги плотим. Немалые. В порядке все содержится. Хозяйство ладное.

— Чего тогда второй раз приехали? — стоя боком к ней, продолжая смотреть за женой, недовольно спросил Семен. — Тогда обо всем ведь договорились. Задаток опять же...

— Засомневались мы, — скажут тот, что постарше, задумчиво почесывая прямую, лопатой бороду. — Сели тут на днях все это обсуждать и... — он виновато развел руками, а тот, что помладше уточнил:

— Подвоха какого-ниабудь бы не было.

И все трое пришедших вслед за взглядом Семена уставились на Серафиму вопрошающе и уже с опаской, а муж — вроде бы предостерегая. А ей все они вместе с Семеном показались как бы случайные здесь, зашли вот и о чем-то, что ее не касается, интересуются.

— В избу, в избу пошли, — заторопил Семен. — Перекусить с дороги, да и если сомнения есть...

Мужики бородатые, те сразу к избе и направились, а женщина не двинулась, проговорила, почти не шевеля бескровными губами:

— Будем на днях переезжать или другое место найдем.

— Это вы с мужем, — еле произнесла Серафима. — Я уезжать не собираюсь. У меня отец с матерью здесь. Нельзя их бросать. Внушек от них увозить нельзя. И все мне здесь жалко! — вдруг призналась она, пожалела об этом, помолчала, но все-таки добавила: — Вот каждую травинку здесь жалко.

— За каждую травку и уплотим, — опять же не шевельнув бескровными губами, сказала женщина и пошла к избе.

Оттуда доносился степенный говор покупателей и дергающийся голос Семена. Серафима знала о чем спор: муж просит подождать до осени. А эти — покупатели — ждать не хотят и не будут. Пусть Семен выкручивается.

А в ней — удивительно легко, как что-то само собой разумеющееся, ничем неопровержимое, естественное до того, что она побежала в избу накрывать на стол — росло и росло ставшее наконец ясным решение: никуда она не поедет. В ней не было ни протеста, ни злости, она просто бежала сказать, что не поедет отсюда, сказать это так же приветливо, как, например, предложить гостям-покупателям закусить с дороги...

Душа  
не на своем  
месте

— На меня слово «женщина» не действует,— задумчиво проговорил Егор, то ли прислушиваясь к вою поземки за окошком, то ли ожидая, что Варвара удивленно вскинет густые, почти лохматые брови. — Без выражения оно, это слово, вроде бы даже и не русское. Вот есть другое слово про то же самое — «баба». Оно хорошее. Его по-разному сказать можно. И выругаться, и приласкать. Так вот, не баба ты, Варвара. Слышь?

— Второй уж час тебя слушаю, — с насмешливой покорностью отозвалась она и, шумно зевнув, повернулась к нему спиной.

— А и ладно, — спокойно сказал Егор, — тебя со всех сторон разглядывать приятно. Хоть так, хоть этак.

Сидели и смотрели в окошко, за которым ничего не было видно.

— Кто ж я по-твоему? — не выдержала Варвара. — Кто, если не баба?

— Черт тебя знает, по правде говоря. Я вот питаю к тебе... ну чувства там всякие. По душе ты мне. В притык. И все ж таки не могу я к тебе, как к бабе относиться. В притык-то в притык, душа в душу, а поскрипывают... наши отношения.

— От тебя все зависит, — словно мимоходом посоветовала Варвара.

— Если бы от меня... Ничего от меня как раз и не зависит.

— От меня, что ли? — и даже по ее широкой спине Егор понял, что Варвара усмеялась.

— Смешно, конечно, — согласился он, — но... это-то ерунда. А вот муторно мне.

Она резко повернулась к нему и сказала, отчетливо выговаривая каждое слово, как глухому:

— Домой иди. К жене. К детям. Нечего тебе здесь делать.

А Егор, помолчав, продолжал свое:

— Вроде бы ты нормальная. Все в тебе женское, то есть вроде бы и бабье. А... и еще в тебе что-то есть. Люблю я, к примеру, с тобой толковать. И не как с бабами, а...

— Иди, Егор, домой. Ждут ведь тебя. Анна волнуется, сердится, нервничает. — И опять даже по спине ее было заметно, что Варвара насмешничает, хотя и не очень весело.

— Волнуется, сердится, нервничает, — не то уныло, не то поддерживая насмешку, согласился Егор. — А ты знаешь, как я на ней женился? Как многие, верно, женятся. Морально. И мучаюсь я из-за того, что кто-то эту самую мораль выдумал. То есть подошло время, скажем прямо, мужчиной стать. Культурно выражаясь, сил во мне было лишка. Кровь кипятком кипела. Мне бы погулять на полной скорости, успокоиться бы... Да разве можно? Да разве положено? Я ведь с детства моральный человек. Мне, брат ты мой, только законный брак подавай по всем правилам. Ну, а раз такое, я уж на весь ихний женский пол с этой точки

зрения смотрю. Шелестит мимо платьице, а я думаю: не моя ли будущая законная супруга топает? Тут Анна встретилась. А могла бы и другая. То есть тогда-то мне казалось, — уже серьезно говорил Егор, — что я чувство любви испытываю. А на самом деле — потребность плюс мораль минус умная голова, получился законный брак... Одиннадцать годов, как под пилой деревья, повалились. Только дерево-то с шумом падает, а мои-то семейные годы мягко так шлепались. Плашмя...

В черных, навывкате глазах Варвары был тоскливый и напряженный вопрос: «Мне-то зачем это рассказываешь?»

А Егор уже не ей рассказывал, а будто самому себе и смотрел уже не на нее, а в окошко, за которым ничего не было видно.

— Должен я домой идти. Это мораль. Законная мораль. А то, что душа моя, как тракторная гусеница о камень лязгает, это никого не интересует. Ни жену, ни тебя, ни мораль, никого... А ведь горе у меня. Важное горе. Пить если бы я начал или хулиганил, или спутался с какой-нибудь, тут бы меня ублажать стали, перевоспитывать то есть. Чтоб я опять моральным стал... А когда душа не на месте, это никого...

— Чего ж тебе от меня надо? — уже сердито спросила Варвара.

— Если бы знал... Тоска меня обглаживает. Поедом ест. Хоть бы Анна меня понимала! Нет. Другого она человек полета. Я ведь не жалуясь, что она плохая. Для меня она не подходит. И я для нее не тот.

— А для кого ты — тот? И которая для тебя — та?



— Человека мне надо бы встретить....

Барвара при всей своей полноте легко вскочила. Глаза у нее печальные, а сказала так:

— Хитришь ты сам с собой. И со мной хитришь. И с Анной хитришь. И ничем я тебе помочь не могу. В таком случае. Баба я всего-навсего. Понятно?

Егор удивленно вскинул рыжие брови, проговорил глухо:

— Ты всерьез? Не ожидал я от тебя такой... точки зрения.

— Я и сама не ожидала. Вырвалось. Так меня тоже понять надо. И у меня, между прочим, душа есть. Да еще в теле.

— Да еще в каком, — мрачно добавил Егор. — Это, представь себе, я понимаю. Только в уме не держал, что ты... — он недоуменно пожал плечами.

— Судить легко, — с обидой и чуть виновато сказала Варвара. — Я бы, может, и рада другой стать, да поздно.

— Другим стать никогда не поздно. Даже в лучшую сторону повернуть можно.

Мимо окошка кто-то проскрипел снегом, хлопнула дверь. Егор через плечо спросил:

— Ты зачем?

Анна неслышно шагнула в комнату, постояла, заговорила, словно успокаивая:

— Ребятишек я спать уложила. Все по дому сделала. Устала. Сажу на кухне. Вдруг вспомнила: замужняя ведь я. Честное слово. Муж ведь у меня законный имеется. Чего это я одна сижу? Непонятно. Пусть те одни сидят, у которых своих мужей нету, — и только тут посмотрела на Варвару.

Варвара спокойно, лениво даже, без усилий выдержала ее взгляд, ответила:

— Я его не держу.

— Выгони, — посоветовала Анна, — пристыди.

— Пробовала.

— А ты еще раз.

— Мне-то что? Пусть сидит.

— Конечно, — вроде бы согласилась Анна, — сидеть-то пусть сидит. Только бы...

— Могу я, — громко перебил Егор, — имею я право хоть вечером свободным быть?

— А я?

— А кто тебя держит?

— Ребятишки. Хозяйство. Совесть, — деловито перечислила Анна.

Егор накинуд на плечи полушубок, за шапку взялся, но вернулся в комнату, сквозь зубы заговорил:

— Все у тебя просто. Я да муж, хозяйство да ребятишки. А у меня еще другие вопросы есть. Космос, к примеру. Меня вот интересует, какое я место в космосе занимаю? Для чего?

Анна кивнула согласно: дескать, это я понимаю, и спросила:

— А к ней зачем ходишь? Если у нее совсем совести маловато...

— Идите вы оба, — Варвара поморщилась, — надоели.

— А ты... — Егор повернулся к ней, и его красноватое лицо сразу побагровело. — Ты со своей точки зрения побыстрее спрыгивай.

И ушел.

Анна радостно улыбнулась Варваре и — следом за ним.

Он шагал в накинутом на плечи полушубке, встречные понимающе ухмылялись — загулял мужик в будний день, не мог субботы дожждаться. Анна отвечала улыбкой: не беспокойтесь, хорошо гуляем, вместе, как видите.

Тяжело ей было за ним поспевать: навздывала на себя сколько налезло — знала, куда шла, нельзя было лицом в грязь.

У самого дома уже Егор остановился, словно раздумывая, войти или не войти, повернулся в сторону поселка, зашептал громко:

— Я ребяташек наших не меньше, чем ты, люблю. Только, видно, другая у меня любовь. Ты чего хочешь? Чтоб они такими, как мы с тобой, выросли? Нет, брат ты мой! — крикнул он. — Не пойдет! Не выйдет! Хочу, чтоб они лучше нас были! Мы в глуши живем, до железной дороги от нас сто шестьдесят километров автобусом! Да еще лошадьми шестьдесят! В нынешнее время до луны вон добраться легче, чем до нас!

— На меня-то чего кричать? — поинтересовалась Анна.

— Тебе хорошо потому что. Твои мечты все — вот они! Дом у тебя собственный. Огород. Корова, будь она проклята. Свинья, чтоб ей пусто было, прорве ненасытной. Радиоприемник. Одетая, обута!

— Дом у нас богатый, — весело согласилась Анна.

— А я бы его спалил! Что мне в нем!

— Ребятишки с молоком завсегда. Вот что.

— А если я сейчас головой в прорубь?!

— Ну и дурак... — Анна растерянно и жал-

ко улыбнулась, чтобы не брызнули слезы, прикрыла лицо рукой, будто от ветра.

— Му-уторно мне, — протяжно пожаловался Егор, закинув голову. — Мутит меня, понимаешь?

— Нет, — призналась Анна.

— Ну поверь тогда, раз не понимаешь. Поверить ты можешь? Можешь ты поверить?

Анна отрицательно покачала головой и заплакала тихо, без голоса, только слезами.

— Почему не можешь поверить?

— Да не верю потому что, и... все.

— Ладно тогда. Я скоро приду.

«Хоть бы в чайную!» — подумала Анна.

А он просто так шел, никуда. В чайную бы — это хорошо. Да не поможет. И пробовать даже перестал давненько, хоть литрами зелье в себя вливай, голова все о том же воображает, а на душе еще муторнее... С Варварой бы — как с бабой, да тоже не поможет. А почему?

Очнулся — стоит он у ее дома.

Коленом открыл дверь, прошел сени, другую дверь на себя рванул, шагнул через порог и сразу услышал:

— Пожалей меня. Не мучь. Уходи.

Егор мотнул головой — шапка слетела, вперед ступил, пошевелил плечами — полушубок на пол.

— Уходи, — Варвара потянулась к нему, но Егор как бы отмахнулся:

— Не гони. Сам уйду, когда надо будет. И сядь. И сиди. И отвернись. Чтоб я глаз твоих не видел. Больно много в них... всякого.

— Тогда... зачем пришел?

— А некуда мне больше... Люблю я тебя,

наверно. Очень, к тому же... Да разве в этом дело?

— Человек ведь я, — Варвара вся к нему тянулась, но он стоял так недвижимо, что она только пальцами рук шевелила в воздухе, да и то боязно. — Сил моих нету...

— Жару-то в тебе сколько, — сказал Егор. — Пахнешь вся огнем-то своим... Да нельзя. Еще муторней станет. Потом-то.

Варвара покачнувшись, тяжело отошла к окошку, спросила тоже тяжело:

— Чего ж ты от меня хочешь?

— Не знаю. Раньше вроде бы знал. Можно, конечно, и твоей точкой зрения воспользоваться. Но все равно душа на свое место не вернется. Другое ей что-то требуется.

— Тогда забудь про эту дверь! — шепотом крикнула Варвара. — Уходи! К жене своей!

— Жены моей не задевай, — строго посоветовал Егор. — Ну как ты понять не способна...

Зарыдала Варвара в голос. Всей своей красотой упала на кровать, забилась.

И не слышала, как подошел Егор, долго стоял над ней, ну ровно над могилой, смотрел на голубенькие жилки на белых ногах, долго смотрел — голова заболела.

— Мне, может, тебя сильнее охота, чем тебе меня, — сухим голосом выговорил он, — да... тем пустее потом-то будет. Знаю.

— Выворотень ты, выворотень! — сквозь рыдания крикнула Варвара. — Сам упал и мне жизнь придавил!

Изо всех сил хлопнул Егор дверь, чтобы не унести в ушах плач.

Шагал он по улице, держа в руках шапку и полушубок.

В волосы набился снег, а в распахнутом вороте и на лице таял.

Оделся Егор на ходу, еще больше замерз — там, внутри себя.

Может и выворотень он. Только — что его корни выворотило? Какая сила его опрокинула?

Мимо своего дома прошел Егор, не заметил. Лишь где-то, уже за поселком, в тьме крошечной, оступившись по колено в снег, опамтовался.

Обратно почти бежал, будто вспомнил о чем-то, торопился рассказать Анне, перешагнул порог, заговорил:

— Уедем отсюда. Дом и живность продадим. В южных местах заживем. Ребятишек виноградом питать будем. Яблоками там разными.

Анна спросила:

— Разлюбил меня, что ли?

Медленно загасла лампочка под потолком — это выключили движок.

— Как же так? — снова спросила Анна, хотя Егор и на тот вопрос еще не ответил. — Все хорошо было и вдруг... — она машинально разжигала керосиновую лампу. — Моложе она меня, конечно. Это я понимаю. Соком налилась, как помидор в валенке. В фигурах вся. Но ведь мы с тобой сколь годов...

— Выслушай меня по-доброму, — попросил Егор, все еще не садясь. — Только оба уха раскрой. Закрутилась ты в этом... домашнем быту. А не это счастьем называется. Не дом, овинья, корова, муж, ребятишки... Земля-то планета! Она в мировом пространстве вертится! Круглая она! А для тебя она плоская. И на месте

стоит, не движется. На ней дом твой собственный. Твоя свинья пяточком ее роет. А вот доживем мы с тобой, предположим до коммунизма. И дома у всех будут бесплатные, и коровы автоматические, свиньи — тоже автоматы. Что тогда делать-то будешь? Об чем думать? Чем заниматься-то будешь спрашиваю?

— Сказки твои слушать, — сощутив и без того узкие глаза, ответила Анна и резко оттянула бусы на груди, будто душили они. — А этой я тебя не отдам. Уж и не знаю, что сделаю, а...

— Да не о том я, не о том!

— А я о том. Ты с одного бока жизнь разглядываешь... — и не сдержалась Анна, зарыдала. — Корова ему не нравится! Земля у него в мировом пространстве вертится! Свинья ему поперек горла стала! Да при таких, как ты, таким, как я, одна только и надежда: ждать когда коровы автоматическими будут! А пока мы сами вместо автоматов! Белье-то после бани чистое просишь? А постирал кто? Есть после работы тебе требуется? А кто сготовил? Вот когда ты в чистое переоденешься, у теплой печки сядешь, вот тогда тебя в космос и тянет!

Егор разделся, сел. Думал, выревелась жена, выкричалась. А она снова начала:

— Нас, баб, уважать надо. И жалеть. Мы на сколь лет раньше вашего онашиваемся? Ты сначала дома коммунизм построй, а потом — в мировом пространстве. Тебе за твой труд хоть доска Почета, а мне за мой — что? Доведут нашего брата, а потом хвост трубой. В космос! И старые мы, и характер у нас не тот. А я тебя спрашиваю, — сухо, без слез уже выкрикнула Анна, — ты меня молодую взял, по-

лучше была, чем эта, нынешняя. Где ж все растерялось? Ребятишек я кому родила? Морщины вот эти кто мне оделал? Кому все отдала? У меня в глазах темнится, до того я несчастная! А ты гуляешь себе, вопросы выдумываешь... — и даже голос у нее потерялся, замолчала.

— Не враг я тебе, Анна, — сказал Егор и опустил голову: до того в ней тяжело было. — Беда со мной. У нас с тобой беда.

— Выворотень ты, — хрипло сказала Анна. — Выворотень, и никто больше.

Равнодушно тикали ходики. И давно в доме других часов несколько штук, а эти выбрасывать жалко — все одиннадцать лет семейной жизни оттикали они.

— И ты права, — сказал Егор, вставая, — и я прав. Вот и надо разобраться... Я с ребятишками лягу.

— Я знаю, — сказала Анна.

...Не помнит уж Егор, когда разучился легко засыпать. Раньше-то голова в лежащем положении только о всяких пустяках думала, а сейчас только прикоснется к подушке, и — хоть вскакивай тут же да бегай — до того острые в нее мысли залезают. Или тяжелые — так придавят, что охота голову руками потрясти...

Каждую ночь вспоминает Егор свою жизнь и каждый раз удивляется. И каждый раз не понимает, что такое с ним стряслось? Чего он потерял?

А когда-то характер у него веселый был. И в лес-то работать из-за этого характера пошел: ценят ведь здесь веселых людей, уважают. И еще нравилось Егору не гладко жить, а с



закавыкой какой-нибудь, чтоб трудности были и все такое. А уж где закавык больше, как не в лесу?

Поначалу, когда они с Анной мужем и женой называться стали, все с места на место, а потом ребятишки — один за другим, четверо набралось, — стоп. Да и устали кочевать-то. Приехали вот в этот леспромхоз. Лет пять в бараке жили. Потом построил Егор себе дом. Хозяйством обзавелся. Трактористом знаменитым стал. И в газетах о нем печатали. Один раз много напечатали. «Секрет успеха» называлось. И портрет был.

И подумал Егор, что слишком уж он на других людей похож, исправить надо эту неувязку. И в столовой, к примеру, он теперь сидел, как в президиуме, а в президиуме — так вовсе не шевелился. Даже голос свой собственный ему разонравился, пришлось над ним поработать.

Ну, выпивал. А чего ему не выпить? Плясал ведь, не дрался. Пел! Забудет, что он выдающийся, гитару вниз струнами перевернет и такое отчубучит, что жена сама еще в стакан ему подольет.

И умный был. За словом в карман не лез и зря словами не бросался. Уж скажет, так скажет.

Раз в месяц книжку брал в библиотеке на современные темы, брал и технические, и политические, но эти для вида. Сравнивал себя с теми, про кого книжки пишут. Получалось, что он не хуже всех, а иных и лучше.

Об чем было беспокоиться?

Дважды в область на курсы ездил, а пленумы, совещания, активы и — не сосчитать.

Ну и для полноты характеристики: кой-какие грешки случались, но так — мимоходом, больше из интереса, чем по потребности.

А главное — душа на своем месте была. Ничего ее особенно не волновало. Жизнь простой выглядела, как мотор трактора с закрытыми глазами мог ее наладить, если в ней что-нибудь поскрипывать начинало.

Да и привык ко всему. Кому глушь-глухомань, а ему нравилось. Тем более телевизор обещают. Чего еще надо? Если в Москве знаменит, то не каждый, конечно, тебя в лицо знает, а в поселке — каждый пацан даже.

Рыбы в озерах — ведром черпай, если лень червяка на удочку насаживать. В лесу птицы, зверья — только знай, с которого конца ружье стреляет.

Да и вообще — кому что. Кто в академиках, а кто и в лесу должен работать. Тем и другим за труд — почет.

Главное, чтоб душа на своем месте...

А тут — сдвинулась... далеко куда-то. Кто ее испугнул? Что? Когда?

Одно ясно: надолго.

Если не навсегда...

Вот незадача...

...Егор в темноте прошел на кухню, взял в кармане полушубка пачку, зубами вытащил папироску, на столе нащупал коробок, послушал тиканье ходиков, чиркнул спичкой, прикурил и — увидел Анну.

Она по-прежнему сидела у стола, неподвижная, будто спала с открытыми глазами. Только бусы сняла и перебирала их.

— Чего ты? — испуганно, вздрогнув от жалости, спросил Егор, не ощутив, что спичка сгорела до пальцев, погасла.

— Сижу вот, — тихо из темноты ответила Анна, — сижу, об себе думаю.

— Ложись давай.

— Молчи-ка лучше. Раз сказать нечего.

— Так ведь...

— Не впервой ведь мне. Привычная я к этому.

— Не уйду я от тебя, — еле выговорил Егор, — и думать об этом брось. Уедем отсюда. В новом-то месте, может, все заново.

— Вот сидела я тут, — не слушая, видимо, его, сказала Анна, — и знаешь, об чем переживала? Об тебе. Мне бы об себе, а я... Заездит она тебя. И любить не будет. И обидно мне за тебя. Расстроилась я вся.

Она замолчала. Постукивала бусами.

У Егора замерзли ноги, он грел их одну другой; еще сходил за папироской, но когда прикуривал, на жену не взглянул — боялся, что опять жалость за сердце схватит.

А вместо жалости — стыд кольнул.

Две-три затяжки, и во рту горько стало; раздавил папироску, пальцы обжег.

— Может, не тянуть? — будто саму себя спросила Анна. — Может, выдержу? Вдруг и не так уж страшно? Выживают ведь другие.

— Ерунду говоришь.

— Нет, не ерунду. Раз не кричишь.

— Все к тому свела, что меня будто к другой потянуло, будто бы меня больше ничего не интересует. Неужели все к этому свела? Только к этому.

— Ага. — Анна встала. — Думай давай, Егор, да решай... Я мешать не буду. Бессильная я против. Помогать умею, а больше ничего не умею... Я с ребяташками лягу. — И неслышно ушла в комнату, оттуда шепнула: — Долго-то не сиди.

Рванулся Егор позвать жену, но не позвал. Встал он, сунул холодные ноги в валенки, вернулся к столу, покатал бусы.

Сел.

...Лет так несколько назад не сидел бы вот он таким методом, в подштанниках, ночью на кухне... И не казалось бы ему Варвара особенной какой-то, миловался бы с ней — долго ли дома соврать, что на сверхурочной работе был? А сейчас — врать разучился... Даже себе врать — не получается. Лето бы если, сел бы на мотоцикл, газанул бы... проветрился. А раньше еще проще — к Таньке, завмагазином, разбудил бы, зеленую «московскую» или белую «столичную» в карман и под огурчик. Ничего ему теперь не надо!

И Варвара его не спасет, хоть ноги у нее белые до рези в глазах.

И Анна не спасет...

Сердце, черт с ним, пусть скручивается, а вот душа не на своем месте, и из жизни столовский шницель получается — это хуже.

Егор пошел, прислонился спиной к теплой печке. Долго не мог согреться. У Варвары в домике всегда жарко. Сама она сюда из южных мест перебралась, а во двор за дровами выходит в мороз, платка на голову не накинёт.

А если все это от того, что голова у Егора пустая? Завелась в ней пара вопросов, и пере-

катываются они как в бочке? И ни ответа на них, ни приветов.

И опять же, если уж совсем она пустая, голова-то Егорова, тогда чего она напрягается? Гудела бы на здоровье, а то сама себе вопросы задает, мучается.

Вот почему один академиком работает, а другой — в лесу? Не в том дело, у кого зарплата больше, а опять же — в голове. Головы-то ведь разные. Почему моя других хуже?

Проезжал тут один. Работник называется, но научный. Егор еще схохотнул: научный работник — придумают тоже!

Дрова она колола, наука-то, чтобы согреться — умора!

Но дрова колоть научить можно, а чего научный работник в науке умеет, Егору и не узнать.

Чего ж хохотал?

А приучили.

Передовым называли, значит, он — впереди всех. Приятно. Не зря живешь, значит.

А в душу влезло беспокойство. Нехорошее такое беспокойство, с мутнинкой. Чем же ты лучше других? Написали ведь про тебя в газете, что никакого секрета в твоей работе нет. Весь секрет в том, что ты работу любишь. Да и как иначе-то? Это все равно, что есть, пить и все такое прочее, без чего не проживешь просто, помрешь.

Мало стало для души такой работы. Голова-то во время ее не особенно занята, прямо скажем. Получалось: работа идет сама по себе, а голова сама по себе об другом думает.

— Ты бы лег, Егор, — услышал он тихий голос Анны, — на смену уж скоро.

— Не спится, — виновато отозвался он, — я отгул выпрошу, у меня их штуки две накопилось.

Спине было жарко, а плечи, ближе к груди, озябли, Егор и повернулся, будто обнял печь.

Сергея Пустовалов, тоже с доски Почета, в чайной как-то подсел к Егору и давай орать: мы-де с тобой да мы-де с тобой, уж такие-то мы, да никто нам и в подметки не годится. Куражился парень — а с чего? У Егора же хмель из головы вон: будто на самого себя со стороны внимательно посмотрел.

То, что Сергей работал, как наотмашь бил, ладно. От него на работе пар валил, когда он деревья валил. Красиво, помимо всего прочего, у него получалось. Ну и что?

Выворотень... стояло, значит, огромное дерево, краса и сила, надо всеми высилось. А под ним бормотал, предположим, ручеек. Бормотал, бормотал сколько-то там лет... Влажная земля стала рыхлая, еле-еле держатся в ней корни. А ничего — стоит дерево, краса и сила, надо всеми высится. Да вдруг как корнями в воздух. Упало... Живое еще будет лежать, зеленое, а уже мертвое. А ведь ни червоточинки в нем не было. Гнить оно начинает, когда уж повалится...

Нагрелась грудь, аж сердцу тяжело стало... И Варвару-то он заметил скорей всего для того, чтобы с ней от головы своей спрятаться. Голове там делать нечего, другие детали требуются.

Тосковать он о ней будет много. Она — тоже ручеечек, тоже свалить может. А свалишься — не встанешь.

«Не сердись на меня, — попросил ее Егор, — не сердись. Знаю: не любят такие, как ты, ох как не любят, когда их не любят!»

Сам ты во всем виноват. Позарился на пустяк, а душа большой разбег взяла... Она летать собиралась, а ты ее прыгать заставляешь — с кочки на кочку.

Мимо прошла Анна, запозвякивала ручкой.

— Спала хоть немного? — спросил Егор.

Волоски в лампочке под потолком покраснели, и она зажглась.

Егор подошел к ходикам и одним движением подтянул гирю до предела.

В голове у него было тяжело и ясно.

— Попроси отгул-то, — сказала Анна.

— Никакого отгула я просить не буду, — ответил Егор, — не заработал еще.

**Один день  
из жизни  
Ивана Шамякина**

Иван Шамякин заболел.

Бледный, небритый, валялся он на кровати, высасывал папиросу за папирсой.

Потом вскочил и — к дверям.

А на улице дождь. Скоро рубашка облепила худое тело, русые волосы приклеились к голове.

Засунув руки в карманы, шагал Иван, будто знал, куда идет. Прохожие уступали ему дорогу: не потому, что догадывались о его недомогании, а потому, что он казался им пьяным.

Шел он, шел, через весь город прошел, очутился на окраине. Ни дождя, ни ветерка он не замечал.

Ветерок был колюч.

Поежился Иван и остановился. Только тут он, собственно, и осознал, что промок и продрог.

Перед ним лежала неширокая улица из деревянных домиков, спрятавшихся за кустами и заборами. Небо было темно-серое, а улица, домики, зелень были все-таки веселые, вроде бы говорили: «Ничего, ничего, вот пообсохнем, и у нас здесь снова будет тишь да гладь да божья благодать».

Ветерок рябил большие, с черной водой лужи, похожие на озера.



Взбежал Иван на высокое крыльцо и поднял руки.

Так стучат, когда боятся: и того тише рука бьет, а по сторонам глядишь — не сбежались бы люди.

И тут же Иван пожалел: зачем он сюда пришел? Стучит-то зачем? Хоть бы не услышали!

Он уже и руки опустил, он уже ногу назад отставил, ступеньку нащупал. Ведь откроется дверь, увидит он человека одного, и вдруг не по себе станет ему, Ивану Шамякину? Виноват ведь он, душа изболелась, пустота в ней, в душе-то, хоть шаром покати.

Открыла дверь молодая женщина — человек этот самый. Звали ее Тося. По фамилии Козырева.

— Ты? — спросила она больше удивленно, чем испуганно.

— Я, — ответил Иван, и спине стало жарко от колючего ветерка.

— Зачем? Чего тебе надо?

— Болею я... — вырвалось у Ивана. Замолчал он, ждал, что она скажет.

А она сказала:

— Входи... Входи давай.

«Не ходи, не ходи, не ходи», — простучало сердце, но Иван шагнул через порог и оказался в коридорчике, оклеенном веселенькими обоями — голубенькими, с серебряными листочками.

Толкнув легкую дощатую дверь, он вошел в невысокую, с тремя окошками комнату. На подоконниках стояли цветочки в горшочках, обернутых цветной бумагой. На столике в уг-

лу радиоприемник «Рекорд», рядом патефон, на нем горка грампластинок.

Кровать деревянная, широкая — семейная. Пирамиды подушек с обоих концов.

Обои здесь грустноватые — синие цветы и полосочки.

С комода на Ивана удивленно смотрел розовый пластмассовый пупс. В руке у него связка сосок. В ногах — погремушки.

И еще раньше, чем увидел Иван за столом усатого смуглого мужчину, сообразил, что пришел зря; передохнул, будто собирался нырнуть, и сказал:

— Наследил я вам, — и стал смотреть вниз, чтобы спрятать глаза.

— Знакомься давай, — тихо предложила Тося, — это Антон.

— Очень приятно, — выговорил Иван, и каждое слово больно борозднуло по горлу; пожал крепкую, твердую ладонь. — Живется как?

Молчание.

— Лучше всех! — будто спохватившись, громко ответил Антон и невесело хихикнул.

— Садись, — коротко сказала Тося.

— В ногах правды нет, — Антон хмыкнул, словно не в силах сдержать смех. — Садись, пропустим по сто пятьдесят кипяточку. Лучше, конечно, этой... Но — нам в делах необходим экономии режим! — и опять невесело расхохотался.

Смех прозвучал как-то очень одиноко.

— Что нового? — спросила Тося, и от голоса ее в ногах Ивана появилась слабость — будто обняться позвала.

— Да вот заболел, что ли. — И дерзкая мысль о том, что они с Тосей говорят непонят-

ное Антону, взбодрила его. — Под дождь угодил...

— Шел дождь и два студента! — мрачно прогремел Антон, а Тося всхлинула. — Опять? — деловито спросил он и пояснил Ивану: — Бывает... Женщина. Процесс производства у них особый. Спецтехнология. И я предлагаю: полезно бы вместо кипяточку...

— Хочешь? — со слезами спросила Тося.

Иван поднял голову, увидел бездонные ее глаза, из которых в него шло горячее тепло, и радостно ответил, словно спрашивали его:

— Хочу.

— Академик! — насмешливо гаркнул Антон. — Все понимает! — и, гулко стукнувшись головой о верхнюю перекладину в дверях, исчез за порогом.

А Иван смотрел на Тосю и видел ее всю. На ней была черная узкая юбка, каждый бугорок обтянут. Под капроновой кофточкой даже родинку меж лопаток видно. Нравилось раньше это Ивану, а теперь подумал: «Нехорошо, когда женщина для всех просвечивает».

— Усатый — муж тебе?

Она кивнула.

— Пришел вот я, — вырвалось у Ивана.

Тося повернулась к нему. Горячее тепло в ее глазах потухло. Она сказала:

— Поздно.

А он взглянул на ее грудь и вспомнил, такое вспомнил, что шагнул вперед с протянутыми руками. Тося остановила его взглядом и спокойно произнесла:

— Не твоя я теперь, — и зябко поежилась. — Женился?

— Собираюсь, — зло соврал Иван.

— Да уж пора бы. — И ни тоски, ни горечи, ни обиды не уловил он в ее голосе.

Подумал: притворяется; бросился к ней обнял, но — руки сразу опустились, повисли.

— Ну, — прошептала она. — Чего остановился? Хватай давай, пользуйся, как тогда. Ничего ведь тебе больше не надо.

Дверь распахнулась, Антон шагнул через порог, звонко стукнулся головой о перекладину, крикнул от удовольствия, заговорил:

— «Московская» — раз, икра кабачковая — два, икра баклажанная — три, сырок ярославский — четыре, сырок плавленый — пять, колбаска, кильки... Привет рублям от копеек!

Муторно что-то стало на душе у Ивана, решил: выпьет стопку или две и — прощевайте, черт бы вас побрал!

Пластмассовый пупс смотрел на него внимательно, с интересом.

— Где купили? — машинально спросил Иван.

— В универмаге, — ответил Антон. — Можем подарить. Нам он теперь ни к чему.

— Да и мне не надо.

Тося сидела неподвижно, положив ногу на ногу, выгнувшись, и Иван доказывал себе, что она нарочно злит его: дескать, посмотри, какую бросил, ладную да вкусную: тебе сейчас по лужам топать, а мы с Антоном в тепле останемся; тебе в общежитие, а мы — вдвоем... понимаешь?

Антон торопливо расставил стопки и тарелки.

— Бюджет у нас того... писк и треск. Ей вот на пальто купили, мне полуботинки на обе ноги по штуке. «Крокодил» выписали, чтобы жизнь веселее была. — Он налил стопки. — Выпьем за то, чтобы скарлатины не было!

— Ну зачем ты, — Тося погладила его по руке.

— Знаешь зачем.

Иван подумал, что они говорят на непонятном ему языке.

— Да и душа у меня веселая, — грустно добавил Антон.

Он намазал кусок хлеба маслом, потом икрой, сверху положил сыр двух сортов, три кильки и зажевал.

— Душа! — зло повторил Иван, выпив, дернулся и невольно посмотрел на Тосю. Главное, в человеке, конечно, душа.

— Профессор, — с набитым ртом одобрил Антон. — Все бы так здорово соображали.

Откусив у кильки голову, Иван спросил:

— А кому она, душа-то нужна?

— Человеку, — еле выговорил Антон, снова набив рот закуской.

— Человеку, — Иван покосился на пластмассового пупса, который не сводил с него глаз. — А что такое человек?

— Ты человек. Она вот человек. Я человек. За стеной у нас люди живут. Не ахти какие, правда, но люди. Напротив через улицу тоже. В городе. На всем земном шаре люди живут. Ясное дело.

Хотел Иван заявить, что иногда человеку плохо живется, но Антон быстрехонько налил стопки и предложил:

— За то, чтоб человек больше было!

Тося вскочила и — к окну.

Антон закусил губу, будто острая боль его схватила.

«Ко мне она хочет», — решил Иван, улыбнулся, выпил, откусил у кильки хвост и сказал:

— Ваше дело простое. Пальто покупать да полуботинки. Одну пару купили, потом вторую, третью. И так далее и тому подобное. Уа-уа заведете. Пригодится вам этот пучеглазик, — он кивнул на пластмассового пупса. — А может, и двух еще заведете. А дальше? Дальше что?

Молчание.

— А дальше что, я вас спрашиваю!

— Им полуботинки покупать станем, — тихо ответил Антон, продолжая закусывать.

Иван встал, произнес, наслаждаясь каждым словом:

— Жуй, пережевывай. Руки мой перед едой. Уважай труд уборщиц. Переходи улицу в указанных местах. Так?

— Правильно. Быстро же ты захмелел. Так? А с виду крепкий.

— И ты с виду ничего.

Помолчали.

— Образование у тебя какое? — спросил Антон.

— А чего тебе мое образование?

— А оно играет большую роль. Дурак себя любит. Умный — других. Закон природы.

Тяжело опустившись на стул, Иван попросил:

— Плесни-ка. Быстрее выпьем, скорее уйду.

— За то, чтоб все здоровые были, — Ан-

тон выпил и с прежней старательностью продолжал закусывать. — А совесть у тебя есть?

— В норме.

— Тогда жить тебе, конечно, туговато.

— Без совести, выходит, легче?

Выждав, пока с наколотой на вилку кильки скапал рассол, Антон прожевал ее и ответил:

— Само собой. Закон природы. Чем человек лучше, тем ему труднее. Горе от ума — слышал? Дурак, подлец — ему что? Плюнуть, к примеру, захотел, ну и плюнул, где стоит. А честный человек — плевательницу ищи.

Иван думал, что Антон сейчас расхохочется, но тот даже не улыбнулся, произнес, глядя ему в глаза:

— Или такие есть: обкрутит девушку, лишит ее одного качества...

— Подожди, — хрипло остановил Иван, — чего ты меня учишь? Святой ты, что ли?

— Не святой. У меня недостаток есть. Один, правда, но здоровенный. Мозги у меня, понимаешь, не ахти какие. Малогабаритные, так сказать... Ты меня учил. Теперь я тебя учить буду. По-своему.

— Кончайте давайте, — донесся тихий Тосин голос, — устала я.

Иван ударился локтями о стол, уронил голову на руки. Знал: бежать надо, пока не поздно, а сидел.

Антон в банке ловил последнюю кильку.

— Приляг, — сказал он Тосе, — посуду я выполоскаю.

— И пол подотру, — едко добавил Иван.

— А в субботу белье стирать буду. — Антон резко встал.

— А она? — испугавшись его взгляда, почти крикнул Иван. — Она что делать будет? Книжонки почитывать?

— А она в школу пойдет, — Антон шагнул к нему.

— В какую школу? — Иван попятился к двери.

— В вечернюю школу рабочей молодежи номер сорок восемь, — и Антон прислонился к косяку.

Путь был отрезан.

Иван закурил, махнул рукой, но спичка не погасла, обожгла ему пальцы.

— Мне пора. — Голос его пересох.

— Я провожу, — раздельно выговорил Антон, и под сердцем Ивана похолодело.

— Не надо, — сказала Тося, — не надо, ну его...

Антон распахнул двери, пропуская гостя.

А на улице темень.

Холодина.

Иван шагал впереди, пригнувшись в ожидании удара.

Сзади тяжело шагал Антон.

— Кто тебя просил жениться на ней? — через плечо спросил Иван. — А если женился, так...

— Направо.

Они свернули от трамвайной остановки. На каждой подошве было по полпуда глины.

Вода в лужах теплая, а по спине озноб бежал.

— Давай здесь, — попросил Иван, — чего грязь месить? — холодный страх впивался ему



в затылок. — Слышишь, давай здесь. Не боюсь я тебя! — и побежал, с трудом вытаскивая ноги из глины. Потом он резко повернулся, прислушиваясь к чавканью Антоновых сапог. Когда оно приблизилось, Иван, что было силы, бросил кулак в темноту почти наугад и охнул — попал в плечевую кость.

— А мне нельзя кулаком-то действовать, — донесся глухой голос. — Больно тяжел у меня кулак-то... Идем.

— Куда?

— Туда.

Иван посмотрел: впереди, на фоне бледного неба — кладбищенская ограда; обеими руками вытер потное лицо, крикнул:

— Не пойду!

— Пойдешь, — спокойно сказал Антон и пошел. Сам себе удивляясь, Иван двинулся следом. Страх уже не было. Было что-то другое, неумолимое.

Дойдя до ограды, Антон протиснулся в узкую щель между досками. Иван уперся в них, хотел удержать себя, но словно кто-то протолкнул его.

— Не вижу ни черта!

Где-то топал сапогами Антон. Иван двинулся за этими звуками, спотыкаясь, и наконец упал, уткнувшись руками в невысокий холмик — свежий еще.

Руки провалились в мягкий грунт.

Силы оставили Ивана.

Он с трудом поднял голову, увидел огонек папиросы, попросил:

— Закурить дай.. чего тебе от меня надо?.. Не могу я больше, ноги не держат... больной ведь я, чего надо?

— На месте уже, — тихо проговорил Антон, — мальчишка тут лежит. Аликом звали. Твой.. — и повторил: — Аликом звали.

Вскочил Иван, долго не мог попасть кончиком папиросы в подставленный окурочок.

Антон взял Ивана за подбородок, дал прикурить.

## Содержание

---

Заваруха . . . . .	3
Елена — рыжая ведьма — графиня — Витькина сестра . . . . .	11
Жора Суслов и его красивые жен- щины . . . . .	30
Любовная драма у нас в бараке на Промплощадке во время войны .	58
Гул дальних поездов . . . . .	130
Мама Надя, Ленька и я . . . . .	138
Война прошла . . . . .	170
Самое длинное мгновение . . . . .	175
Старик и его самая большая любовь .	180
Петровна . . . . .	195
Симка — Сима — Серафима . . . . .	202
Душа не на своем месте . . . . .	241
Один день из жизни Ивана Шамякина	259

ИБ № 444

**Лев Иванович Давыдычев**

**САМОЕ ДЛИННОЕ  
МГНОВЕНИЕ**

Рассказы

---

**Редактор В. Белугин**

**Художественный редактор Н. Егоров**

**Технические редакторы Л. Анашкина,**

**В. Никифорова**

**Корректоры Л. Антонова, З. Князькова,  
Н. Саммур**

Сдано в набор 26/I-1977 г. Подписано к печати 11/V—1977 г. А06688. Формат изд. 70×90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Печ. л. 8,5. Усл. печ. л. 9,94. Уч.-изд. л. 9,78. Тираж 30 000 экз. Заказ № 279. Цена 78 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

**ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!**

*Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:*

*121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4  
Издательство «Современник»*